

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

# АРКАДИЙ ГАЙДАР

ТИМУРИ ЕГО  
КОМАНДА





ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА



*Apk. Laiday*

1904 - 1941

АРКАДИЙ ГАЙДАР

ТИМУР И ЕГО  
КОМАНДА

Повести  
и рассказы

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
АРХАНГЕЛЬСК,  
1982

Р2  
Г14

Тексты печатаются по изданиям:

Аркадий Гайдар. Тимур и его команда. РВС. Архангельск, Северо-Западное кн. изд-во, 1971 г.

Аркадий Гайдар. Голубая чашка. Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1974 г.

Аркадий Гайдар. Дальние страны. М., издательство «Детская литература», 1970 г.

**Гайдар А. П.**

Г14 Тимур и его команда: Повести и рассказы. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1982. — 207 с., ил., 1 л. портр.

Г  $\frac{0763 - 037}{M157 (03) - 82}$  5-37-82

Р2  
ББК 84 Р7

© СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1982 г.,  
ОФОРМЛЕНИЕ.



## ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

Вот уже три месяца, как командир бронедивизиона полковник Александров не был дома. Вероятно, он был на фронте.

В середине лета он прислал телеграмму, в которой предложил своим дочерям Ольге и Жене остаток каникул провести под Москвой на даче.

Сдвинув на затылок цветную косынку и опираясь на палку щетки, насупившаяся Женя стояла перед Ольгой, а та ей говорила:

— Я поехала с вещами, а ты приберёшь квартиру. Можешь бровями не дёргать и губы не облизывать. Потом запри дверь. Книги отнеси в библиотеку. К подругам не заходи, а отправляйся прямо на вокзал. Оттуда пошли папе вот эту телеграмму. Затем садись в поезд и приезжай на дачу... Евгения, ты меня должна слушаться. Я твоя сестра...

— И я твоя тоже.

— Да... но я старше... и, в конце концов, так велел папа.

Когда во дворе зафырчала отъезжающая машина, Женя вздохнула и оглянулась.

Кругом был разор и беспорядок. Она подошла к пыльному зеркалу, в котором отражался висевший на стене портрет отца.

Хорошо! Пусть Ольга старше и пока её нужно слушаться. Но зато у неё, у Жени, такие же, как у отца, нос, рот, брови. И, вероятно, такой же, как у него, будет характер.

Она ту же перевязала косынкой волосы. Сбросила сандалии. Взяла тряпку. Сдернула со стола скатерть, сунула под кран ведро и, схватив щётку, поволокла к порогу груду мусора.

Вскоре запыхтела керосинка и загудел примус.

Пол был залит водой.

В бельевом цинковом корыте шипела и лопалась мыльная пена. А прохожие с улицы удивлённо поглядывали на босоногую девчонку в красном сарафане, которая, стоя на подоконнике третьего этажа, смело протирала стекла распахнутых окон.

Грузовик мчался по широкой солнечной дороге. Поставив ноги на чемодан и опираясь на мягкий узел, Ольга сидела в плетёном кресле. На коленях у неё лежал рыжий котёнок и тербил лапами букет васильков.

У тридцатого километра их нагнала походная красноармейская мотоколонна. Сидя на деревянных скамьях рядами, красноармейцы держали направленные дулом к небу винтовки и дружно пели.

При звуках этой песни шире распахивались окна и двери в избах. Из-за заборов, из калиток вылетали обрадованные ребятишки. Они махали руками, бросали красноармейцам ещё незрелые яблоки, кричали вдогонку «ура» и тут же затевали бои, сражения, врубаясь в полынь и крапиву стремительными кавалерийскими атаками.

Грузовик свернул в дачный посёлок и остановился перед небольшой, укрытой плющом дачей.

Шофёр с помощником откинули борта и взялись



сгружать вещи, а Ольга открыла застеклённую террасу.

Отсюда был виден большой запущенный сад. В глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай, и над крышею этого сарая развевался маленький красный флаг.

Ольга вернулась к машине.

Здесь к ней подскочила бойкая старая женщина — это была соседка, молочница. Она вызвалась прибраться на дачу, вымыть окна, полы и стены.

Пока соседка разбирала тазы и тряпки, Ольга взяла котёнка и прошла в сад.

На стволах обклёванных воробьями вишен блестела горячая смола. Крепко пахло смородиной, ромашкой и полынью. Замшелая крыша сарая была в дырах, и из этих дыр тянулись поверху и исчезали в листве деревьев какие-то тонкие верёвочные провода.

Ольга пробралась через орешник и смахнула с лица паутину.

Что такое? Красного флага над крышей уже не было, и там торчала только палка.

Тут Ольга услышала быстрый, тревожный шёпот. И вдруг, ломая сухие ветви, тяжёлая лестница — та, что была приставлена к окну чердака сарая, — с треском полетела вдоль стены и, подмятая лопухи, гулко брякнулась о землю.

Верёвочные провода над крышей задрожали. Царапнув руки, котёнок кувыркнулся в крапиву. Недоумеваемая, Ольга остановилась, осмотрелась, прислушалась. Но ни среди зелени, ни за чужим забором, ни в чёрном квадрате окна сарая никого не было ни видно, ни слышно.

Она вернулась к крыльцу.

— Это ребяташки по чужим садам озоруют, — объяснила Ольге молочница. — Вчера у соседей две яблони обтрясли, сломали грушу. Такой народ пошёл... хулиганы. Я, дорогая, сына в Красную Армию служить проводила. И как пошёл, вина не пил. «Прощай, — говорит, — мама». И пошёл, и засвистел, милый. Ну, к вечеру, как положено, взгрустнулось, всплакнула. А ночью просыпаюсь, и чудится мне, что по двору шныряет кто-то, шмыгает. Ну, думаю, человек я теперь одинокий, заступиться некому... А много ли мне, ста-

рой, надо? Кирпичом по голове стукни — вот я и готова. Однако бог миловал — ничего не украли. Пошмыгали, пошмыгали и ушли. Кадка у меня во дворе стояла — дубовая, вдвоём не своротишь, — так её шагов на двадцать к воротам подкатили. Вот и всё. А что был за народ, что за люди — дело тёмное.

В сумерки, когда уборка была закончена, Ольга вышла на крыльцо. Тут из кожаного футляра бережно достала она белый, сверкающий перламутром аккордеон — подарок отца, который он прислал ей ко дню рождения.

Она положила аккордеон на колени, перекинула ремень через плечо и стала подбирать музыку к словам недавно услышанной ею песенки:

Ах, если б только раз  
Мне вас ещё увидеть,  
Ах, если б только... раз...  
И два... И три...  
А вы и не поймёте  
на быстром самолёте,  
Как вас ожидала я до утренней зари.  
Да!  
Лётчики-пилоты! Бомбы-пулемёты!  
Вот и улетели в дальний путь.  
Вы когда вернётесь?  
Я не знаю, скоро ли,  
Только возвращайтесь... хоть когда-нибудь.

Ещё в то время, когда Ольга напевала эту песенку, несколько раз бросала она короткие насторожённые взгляды в сторону тёмного куста, который рос во дворе у забора.

Закончив играть, она быстро поднялась и, повернувшись к кусту, громко спросила:

— Послушайте! Зачем вы прячетесь и что вам здесь надо?

Из-за куста вышел человек в обыкновенном белом костюме. Он наклонил голову и вежливо ей ответил:

— Я не прячусь. Я сам немного артист. Я не хотел вам мешать. И вот я стоял и слушал.

— Да, но вы могли стоять и слушать с улицы. Вы же для чего-то перелезли через забор.

— Я? Через забор?... — обиделся человек. Изви-

пите, я не кошка. Там, в углу забора, выломаны доски, и я с улицы проник через это отверстие.

— Понятно! — усмехнулась Ольга. — Но вот калитка. И будьте добры проникнуть через неё обратно на улицу.

Человек был послушен. Не говоря ни слова, он прошёл через калитку, запер за собой задвижку, и это Ольге понравилось.

— Погодите! — спускаясь со ступени, остановила его она. — Вы кто? Артист?

— Нет, — ответил человек. — Я инженер-механик, но в свободное время я играю и пою в нашей заводской опере.

— Послушайте, — неожиданно просто предложила ему Ольга. — Проводите меня до вокзала. Я жду младшую сестрёнку. Уже темно, поздно, а её всё нет и нет. Помните, я никого не боюсь, но я ещё не знаю здешних улиц. Однако постойте, зачем же вы открываете калитку? Вы можете подождать меня и у забора.

Она отнесла аккордеон, накинула на плечи платок и вышла на темную, пахнущую росой и цветами улицу.

Ольга была сердита на Женю и поэтому со своим спутником по дороге говорила мало. Он же сказал ей, что его зовут Георгий, фамилия его Гараев и он работает инженером-механиком на автомобильном заводе.

Поджидая Женю, они пропустили уже два поезда, наконец прошёл и третий, последний.

С этой негодной девчонкой хлебнёшь горя! — огорчённо воскликнула Ольга. — Ну, если бы ещё мне было лет сорок или хотя бы тридцать. А то ей тринадцать, мне восемнадцать, и поэтому она меня совсем не слушается.

— Сорок не надо! — решительно отказался Георгий. — Восемнадцать куда лучше! Да вы зря не беспокойтесь. Ваша сестра придет рано утром.

Перрон опустел. Георгий вынул портсигар. Тут же к нему подошли два молодцеватых подростка и, дожидаясь огня, вынули свои папиросы.

— Молодой человек, — зажигая спичку и озаряя лицо старшего, сказал Георгий, прежде чем тянуться

ко мне с папиросой, надо поздороваться, ибо я уже имел честь с вами познакомиться в парке, где вы трудолюбиво выламывали доску из нового забора. Вас зовут Михаил Квакин. Не так ли?

Мальчишка засопел, попятился, а Георгий потушил спичку, взял Ольгу за локоть и повёл её к дому.

Когда они отошли, второй мальчишка сунул замусоленную папиросу за ухо и небрежно спросил:

— Это ещё что за пропагандист выискался? Здешний?

— Здешний, — нехотя ответил Квакин. — Это Тимки Гараева дядя. Тимку бы поймать, излупить надо. Он подобрал себе компанию, и они, кажется, гнут против нас дело.

Тут оба приятеля заметили под фонарём в конце платформы седого почтенного джентльмена, который, опираясь на палку, спускался по лесенке.

Это был местный житель, доктор Ф. Г. Колокольчиков. Они помчались за ним вдогонку, громко спрашивая, нет ли у него спичек. Но их вид и голоса никак не понравились этому джентльмену, потому что, обернувшись, он погрозил им суковатой палкой и степенно пошёл своей дорогой.

...С московского вокзала Женя не успела послать телеграмму отцу, и поэтому, сойдя с дачного поезда, она решила разыскать поселковую почту.

Проходя через старый парк и собирая колокольчики, она незаметно вышла на перекрёсток двух огороженных садами улиц, пустынный вид которых ясно показывал, что попала она совсем не туда, куда ей было надо.

Невдалеке она увидела маленькую проворную девчонку, которая с ругательствами волокла за рога упрямую козу.

— Скажи, дорогая, пожалуйста, — закричала ей Женя, — как мне пройти отсюда на почту?

Но тут коза рванулась, крутанула рогами и галопом понеслась по парку, а девчонка с воплем помчалась за ней следом. Женя огляделась: уже смеркалось, а людей вокруг видно не было. Она открыла калитку чьей-то серой двухэтажной дачи и по тропинке прошла к крыльцу.

— Скажите, пожалуйста, — не открывая дверь,

громко, но очень вежливо спросила Женя, — как бы мне отсюда пройти на почту?

Ей не ответили. Она постояла, подумала, открыла дверь и через коридор прошла в комнату. Хозяев дома не было. Тогда, смутившись, она повернулась, чтобы выйти, но тут из-под стола бесшумно выползла большая светло-рыжая собака. Она внимательно оглядела оторопевшую девчонку и, тихо зарывав, легла поперёк пути у двери.

— Ты, глупая! — испуганно растопыривая пальцы, закричала Женя. — Я не вор! Я у вас ничего не взяла. Это вот ключ от нашей квартиры. Это телеграмма папе. Мой папа — командир. Тебе понятно?

Собака молчала и не шевелилась. А Женя, потихоньку подвигаясь к распахнутому окну, продолжала:

— Ну вот! Ты лежишь? И лежи... Очень хорошая собачка... такая с виду умная, симпатичная.

Но едва Женя дотронулась рукой до подоконника, как симпатичная собака с грозным рычаньем вскочила, и, в страхе прыгнув на диван, Женя поджала ноги.

— Очень странно, — чуть не плача, заговорила она. — Ты лови разбойников и шпионов, а я... человек. Да! — Она показала собаке язык. — Дура!

Женя положила ключ и телеграмму на край стола. Надо было дожидаться хозяев.

Но прошёл час, другой... Уже стемнело. Через открытое окно доносились далёкие гудки паровозов, лай собак и удары волейбольного мяча. Где-то играли на гитаре. И только здесь, около серой дачи, всё было глухо и тихо.

Положив голову на жёсткий валик дивана, Женя тихонько заплакала. Наконец она крепко уснула.

...Она проснулась только утром.

За окном шумела пышная, омытая дождём листва. Неподальёку скрипело колодезное колесо. Где-то пилили дрова, но здесь, на даче, было по-прежнему тихо.

Под головой у Жени лежала теперь мягкая кожаная подушка, а ноги её были накрыты лёгкой простыней. Собаки на полу не было.

Значит, сюда ночью кто-то приходил!

Женя вскочила, откинула волосы, одёрнула помя-

тый сарафанчик, взяла со стола ключ, неотправленную телеграмму и хотела бежать.

И тут на столе она увидела лист бумаги, на котором крупно синим карандашом было написано:

«Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь». Ниже стояла подпись: «Тимур».

«Тимур? Кто такой Тимур? Надо бы повидать и поблагодарить этого человека».

Она заглянула в соседнюю комнату. Здесь стоял письменный стол, на нём чернильный прибор, пепельница, небольшое зеркало. Справа, возле кожаных автомобильных краг, лежал старый, ободранный револьвер. Тут же у стола в облупленных и исцарапанных ножнах стояла кривая турецкая сабля. Женя положила ключ и телеграмму, потрогала саблю, вынула её из ножен, подняла клинок над своей головой и посмотрелась в зеркало.

Вид получился суровый, грозный. Хорошо бы так сняться и потом притащить в школу карточку! Можно было бы соврать, что когда-то отец брал её с собой на фронт. В левую руку можно взять револьвер. Вот так. Это будет ещё лучше.

Она до отказа стянула брови, сжала губы и, целясь в зеркало, надавила курок.

Грохот ударил по комнате. Дым заволок окна. Упало на пепельницу настольное зеркало. И, оставив на столе и ключ и телеграмму, оглушённая Женя вылетела из комнаты и помчалась прочь от этого странного и опасного дома.

Каким-то путём она очутилась на берегу речки. Теперь у неё не было ни ключа от московской квартиры, ни квитанции на телеграмму, ни самой телеграммы. И теперь Ольге надо было рассказывать всё: и про собаку, и про ночёвку в пустой даче, и про турецкую саблю, и, наконец, про выстрел. Скверно! Был бы папа, он бы понял. Ольга не поймёт. Ольга рассердится или, чего доброго, заплачет. А это ещё хуже. Плакать Женя и сама умела. Но при виде Ольгиных слёз ей всегда хотелось забраться на телеграфный столб, на высокое дерево или на трубу крыши.

Для храбрости Женя выкупалась и тихонько пошла отыскивать свою дачу.

Когда она поднималась по крылечку, Ольга стояла на кухне и разводила примус. Заслышав шаги, Ольга обернулась и молча враждебно уставилась на Женю.

— Оля, здравствуй! — останавливаясь на верхней ступеньке и пытаясь улыбнуться, сказала Женя. — Оля, ты ругаться не будешь?

— Буду! — не сводя глаз с сестры, ответила Ольга.

— Ну, ругайся, — покорно согласилась Женя. — Такой, знаешь ли, странный случай, такое необычайное приключение! Оля, я тебя прошу, ты бровями не дёргай, ничего страшного, я просто ключ от квартиры потеряла, телеграмму папе не отправила...

Женя зажмурила глаза и перевела дух, собираясь выпалить всё разом. Но тут калитка перед домом с треском распахнулась. Во двор заскочила, вся в репьях, лохматая коза и, низко опустив рога, помчалась вглубь сада. А за нею с воплем пронеслась уже знакомая Жене босоногая девчонка. Воспользовавшись таким случаем, Женя прервала опасный разговор и кинулась в сад выгонять козу.

Она нагнала девчонку, когда та, тяжело дыша, держала козу за рога.

— Девочка, ты ничего не потеряла? — быстро сквозь зубы спросила у Жени девчонка, не переставая колошматить козу пинками.

— Нет, — не поняла Женя.

— А это чьё? Не твоё? — и девочка показала ей ключ от московской квартиры.

— Моё, — шёпотом ответила Женя, робко оглядываясь в сторону террасы.

— Возьми ключ, записку и квитанцию, а телеграмма уже отправлена, — всё так же быстро и сквозь зубы пробормотала девчонка.

И, сунув Жене в руку бумажный свёрток, она ударила козу кулаком.

Коза поскакала к калитке, а босоногая девчонка прямо через колючки, через крапиву, как тень, понеслась следом. И разом за калиткою они исчезли.

Сжав плечи, как будто бы поколотили её, а не козу, Женя раскрыла свёрток:

«Это ключ. Это телеграфная квитанция. Значит,

кто-то телеграмму отцу отправил. Но кто? Ага, вот записка! Что же это такое?»

В этой записке крупно синим карандашом было написано:

«Девочка, никого дома не бойся. Всё в порядке, и никто от меня ничего не узнает». А ниже стояла подпись: «Тимур».

Как заворожённая, тихо сунула Женя записку в карман. Потом выпрямила плечи и уже спокойно пошла к Ольге. Ольга стояла всё там же, возле неразожжённого примуса, и на глазах её уже выступили слёзы.

— Оля! — горестно воскликнула тогда Женя. — Я пошутила. Ну за что ты на меня сердиться? Я прибрала всю квартиру, я протёрла окна, я старалась, я все тряпки, все полы вымыла. Вот тебе ключ, вот квитанция от папиной телеграммы. И дай лучше я тебя поцелую. Знаешь, как я тебя люблю! Хочешь, я для тебя в крапиву с крыши спрыгну?..

И, не дожидаясь, пока Ольга что-либо ответит, Женя бросилась к ней на шею.

— Да... но я беспокоилась, — с отчаянием заговорила Ольга. — И вечно нелепые у тебя шутки... А мне папа велел... Женя, оставь! Женька, у меня руки в керосине! Женька, налей лучше молоко и поставь кастрюлю на примус!

— Я... без шуток не могу, — бормотала Женя в то время, когда Ольга стояла возле умывальника.

Она бухнула кастрюлю с молоком на примус, потрогала лежавшую в кармане записку и спросила:

— Оля, бог есть?

— Нет, — ответила Ольга и подставила голову под умывальник.

— А кто есть?

— Отстань! — с досадой ответила Ольга. — Никого нет!

Женя помолчала и опять спросила:

— Оля, а кто такой Тимур?

— Это не бог, это один царь такой, — намыливая себе лицо и руки, неохотно ответила Ольга, — злой, хромой, из средней истории.

— А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?



— Тогда не знаю Отстаны! И на что это тебе Тимур дался?

— А на то, что мне кажется, я очень люблю этого человека.

— Кого? — И Ольга недоуменно подняла покрытое мыльной пеной лицо. — Что ты всё там бормочешь, выдумываешь, не даёшь спокойно умыться! Вот погоди, придет папа, и он в твоей любви разберётся.

— Что ж папа! — скорбно, с пафосом воскликнула Женья. — Если он придет, то так ненадолго! И он, конечно, не будет обижать одинокого и беззащитного человека.

— Это ты-то одинокая и беззащитная? — недоверчиво спросила Ольга. — Ох, Женька, не знаю я, что ты за человек и в кого только ты уродилась!

Тогда Женья опустила голову и, разглядывая своё лицо, отражавшееся в цилиндре никелированного чайника, гордо и не раздумывая ответила:

— В папу. Только. В него. Одного. И больше ни в кого на свете.

Пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков, сидел в своём саду и чинил стенные часы.

Перед ним с унылым выражением лица стоял его внук Коля.

Считалось, что он помогает дедушке в работе. На самом же деле вот уже целый час, как он держал в руке отвёртку, дожидаясь, пока дедушке этот инструмент понадобится.

Но стальная спиральная пружина, которую нужно было вогнать на своё место, была упряма, а дедушка был терпелив. И казалось, что конца-края этому ожиданию не будет. Это было обидно, тем более что из-за соседнего забора вот уже несколько раз высывалась вихрастая голова Симы Симакова, человека очень расторопного и сведущего. И этот Сима Симаков языком, головой и руками подавал Коле знаки, столь странные и загадочные, что даже пятилетняя Колина сестра Татьяна, которая, сидя под липою, сосредоточенно пыталась затолкать репей в пасть лениво развалившейся собаке, неожиданно завопила и дёрнула де-

душку за штанину, после чего голова Симы Симакова мгновенно исчезла.

Наконец пружина легла на своё место.

— Человек должен трудиться, — поднимая влажный лоб и обращаясь к Коле, наставительно произнёс седой джентльмен Ф. Г. Колокольчиков. — У тебя же такое лицо, как будто бы я угощаю тебя касторкой. Подай отвёртку и возьми клещи. Труд облагораживает человека. Тебе же душевного благородства как раз не хватает. Например, вчера ты съел четыре порции мороженого, а с младшей сестрой не поделился.

— Она врёт, бессовестная! — бросая на Татьянку сердитый взгляд, воскликнул оскорбленный Коля. — Три раза я давал ей откусить по два раза. Она же пошла на меня жаловаться да ещё по дороге стянула с маминого стола четыре копейки.

— А ты ночью по верёвке из окна лазил, — не поворачивая головы, хладнокровно лягнула Татьяна. — У тебя под подушкой есть фонарь. А в спальню к нам вчера какой-то хулиган кидал камнем. Кинет да пошвистит, кинет да ещё свистнет.

Дух захватило у Коли Колокольчикова при этих наглых словах бессовестной Татьянки. Дрожь пронизала тело от головы до пяток. Но, к счастью, занятый работой дедушка на такую опасную клевету внимания не обратил или просто её не расслышал. Очень кстати в сад тут вошла с бидонами молочница и, отмеривая кружками молоко, начала жаловаться:

— А у меня, батюшка Фёдор Григорьевич, жулики ночью чуть было дубовую кадку со двора не своротили. А сегодня, люди говорят, что чуть свет у меня на крыше двух человек видели: сидят на трубе, проклятые, и ногами болтают.

— То есть, как на трубе? С какой же это, позвольте, целью? — начал было спрашивать удивлённый джентльмен.

Но тут со стороны курятника раздался лягз и звон. Отвёртка в руке седого джентльмена дрогнула, и упрямая пружина, вылетев из своего гнезда, с визгом брякнулась о железную крышу. Все, даже Татьяна, даже ленивая собака, разом обернулись, не понимая, откуда звон и в чём дело. А Коля Колокольчиков, не

сказав ни слова, метнулся, как заяц, через морковные грядки и исчез за забором.

Он остановился возле коровьего сарая, изнутри которого, так же как из курятника, доносились резкие звуки, как будто бы кто-то бил гирей по отрезку стальной рельсы. Здесь-то он и столкнулся с Симой Симаковым, у которого взволнованно спросил:

— Слушай... Я не пойму. Это что?.. Тревога?

— Да нет! Это, кажется, по форме номер один позывной сигнал общий.

Они перепрыгнули через забор, нырнули в дыру ограды парка. Здесь с ними столкнулся широкоплечий, крепкий мальчуган Гейка. Следом подскочил Василий Ладыгин. Ещё и ещё кто-то.

И бесшумно, проворно, одними только им знакомыми ходами они неслись к какой-то цели, на бегу коротко переговариваясь:

— Это тревога?

— Да нет! Это форма номер один позывной общий.

— Какой позывной? Это не «три — стоп», «три — стоп». Это какой-то болван кладёт колесом десять ударов кряду.

— А вот посмотрим!

— Ага, проверим!

— Вперёд! Молнией!

А в это время в комнате той самой дачи, где ночевала Женя, стоял высокий темноволосый мальчуган лет тринадцати. На нём были лёгкие чёрные брюки и тёмно-синяя безрукавка с вышивкой красной звездой.

К нему подошёл седой лохматый старик. Холщовая рубаха его была бедна. Широленные штаны — в заплатках. К колену его левой ноги ремнями была пристёгнута грубая деревяшка. В одной руке он держал записку, другой сжимал старый ободранный револьвер.

— «Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь», — насмешливо прочёл старик. — Итак, может быть, ты мне всё-таки скажешь, кто ночевал у нас сегодня на диване?

— Одна знакомая девочка, — неохотно ответил мальчуган. — Её без меня задержала собака.

— Вот и врешь! — рассердился старик. — Если бы

она была тебе знакомая, то здесь, в записке, ты не звал бы её по имени.

— Когда я писал, то я не знал. А теперь я её знаю.

— Не знал. И ты оставил её утром одну... в квартире? Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший. Эта дрянь разбила зеркало, расколотила пепельницу. Ну хорошо, что револьвер был заряжен холостыми. А если бы в нём были патроны боевые?

— Но, дядя... боевых патронов у тебя не бывает, потому что у врагов твоих ружья и сабли... просто деревянные.

Похоже было на то, что старик улыбнулся. Однако, тряхнув лохматой головой, он строго сказал:

— Ты смотри! Я всё замечаю. Дела у тебя, как я вижу, тёмные, и как бы за них я не отправил тебя назад, к матери.

Пристукивая деревяшкой, старик пошёл вверх по лестнице. Когда он скрылся, мальчуган подпрыгнул, схватил за лапы вбежавшую в комнату собаку и поцеловал ее в морду.

— Ага, Рита! Мы с тобой попались. Ничего, он сегодня добрый. Он сейчас петь будет.

И точно. Сверху из комнаты послышалось откашливание. Потом этакое тря-ля-ля!.. И наконец низкий баритон запел:

Я третью ночь не сплю. Мне чудится всё то же  
Движенье тайное в угрюмой тишине.

— Стой, сумасшедшая собака! — крикнул Тимур. — Что ты мне рвёшь штаны и куда ты меня тянешь?

Вдруг он с шумом захлопнул дверь, которая вела наверх, к дяде, и через коридор вслед за собакой выскочил на веранду.

В углу веранды возле небольшого телефона дёргался, прыгал и колотился о стены подвязанный к верёвке бронзовый колокольчик.

Мальчуган зажал его в руке, замотал бечёвку на гвоздь. Теперь вздрагивающая бечёвка ослабла, должно быть, где-то лопнула. Тогда, удивлённый и рассерженный, он схватил трубку телефона.

Часом раньше, чем всё случилось, Ольга сидела за столом. Перед нею лежал учебник физики.

Вошла Женя и достала пузырёк с йодом.

— Женя, — недовольно спросила Ольга, — откуда у тебя на плече царапина?

— А я шла, — беспечно ответила Женя, — а там стояло на пути что-то такое колючее или острое. Вот так и получилось.

— Отчего же это у меня на пути не стоит ничего колючего или острого? — передразнила её Ольга.

— Неправда! У тебя на пути стоит экзамен по математике. Он и колючий и острый. Вот, посмотри, срежешься!.. Олечка, не ходи на инженера, ходи на доктора, — заговорила Женя, подсовывая Ольге настольное зеркало. — Ну погляди: какой из тебя инженер? Инженер должен быть — вот... вот... и вот... (Она сделала три энергичные гримасы). А у тебя — вот... вот... и вот... — Тут Женя повела глазами, приподняла брови и очень нежно улыбнулась.

— Глупая! — обнимая её, целуя и легонько отталкивая, сказала Ольга. — Уходи, Женя, и не мешай. Ты бы лучше сбегала к колодцу за водой.

Женя взяла с тарелки яблоко, отошла в угол, постояла у окна, потом расстегнула футляр аккордеона и заговорила:

— Знаешь, Оля! Подходит ко мне сегодня какой-то дяденька. Так с виду ничего себе — блондин, в белом костюме, и спрашивает: «Девочка, тебя как зовут?» Я говорю: «Женя...»

— Женя, не мешай и инструмент не трогай, — не оборачиваясь и не отрываясь от книги, сказала Ольга.

— «А твою сестру, — доставая аккордеон, продолжала Женя, — кажется, зовут Ольгой?»

— Женька, не мешай, и инструмент не трогай! — невольно прислушиваясь, повторила Ольга.

— «Очень, — говорит он, — твоя сестра хорошо играет. Она не хочет ли учиться в консерватории?» (Женя достала аккордеон и перекинула ремень через плечо). «Нет, — говорю я ему, — она уже учится по железобетонной специальности». А он тогда говорит: «А-а!» (Тут Женя нажала один клавиш). А я ему говорю: «Бэ-э!» (Тут Женя нажала другой клавиш).

— Негодная девчонка! Положи инструмент на место! — вскакивая, крикнула Ольга. — Кто тебе разрешает вступать в разговоры с какими-то дяденьками?

— Ну и положу, — обиделась Женя. — Я не вступала. Это вступил он. Хотела я тебе рассказать дальше, а теперь не буду. Вот погоди, придет папа, он тебе покажет!

— Мне? Это тебе покажет. Ты мешаешь мне заниматься!

— Нет, тебе! — хватая пустое ведро, уже с крыльца откликнулась Женя. — Я ему расскажу, как ты меня по сто раз в день то за керосином, то за мылом, то за водой гоняешь! Я тебе не грузовик, не конь и не трактор!

Она принесла воды, поставила ведро на лавку, но так как Ольга, не обратив на это внимания, сидела, склонившись над книгой, обиженная Женя ушла в сад.

Выбравшись на лужайку перед старым двухэтажным сараем, Женя вынула из кармана рогатку и, натянув резинку, запустила в небо маленького картонного парашютиста.

Взлетев кверху ногами, парашютист перевернулся. Над ним раскрылся голубой бумажный купол, но тут крепче рванул ветер, парашютиста поволокло в сторону, и он исчез за тёмным чердачным окном сарая.

Авария! Картонного человечка надо было выручать. Женя обошла сарай, через дырявую крышу которого разбегались во все стороны тонкие верёвочные провода. Она подтащила к окну трухлявую лестницу и, взобравшись по ней, спрыгнула на пол чердака.

Очень странно! Этот чердак был обитаем. На стене висели мотки верёвок, фонарь, два скрещённых сигнальных флага и карта посёлка, вся исчерченная непонятными знаками. В углу лежала покрытая мешковиной охапка соломы. Тут же стоял перевёрнутый фанерный ящик. Возле дырявой замшелой крыши торчало большое, похожее на штурвальное, колесо. Над колесом висел самодельный телефон.

Женя заглянула через щель. Перед ней, как волны моря, колыхалась листва густых садов. В небе играли голуби. И тогда Женя решила: пусть голуби будут чайками, этот старый сарай с его верёвками, фонарями и флагами — большим кораблём. Она же сама будет капитаном.

Ей стало весело. Она повернула штурвальное колесо. Тугие верёвочные провода задрожали, загудели.

Ветер зашумел и погнал зелёные волны. А ей показалось, что это ее корабль-сарай медленно и спокойно по волнам разворачивается.

— Лево руля на борт! — громко скомандовала Женя и крепче налегла на тяжёлое колесо.

Прорвавшись через щели крыши, узкие прямые лучи солнца упали ей на лицо и платье. Но Женя поняла, что это неприятельские суда нащупывают её своими прожекторами, и она решила дать им бой.

С силой управляла она скрипучим колесом, маневрируя вправо и влево, и властно выкрикивала слова команды.

Но вот острые, прямые лучи прожектора поблёкли, погасли. И это, конечно, не солнце зашло за тучу. Это разгромленная вражья эскадра шла ко дну.

Бой был окончен. Пыльной ладонью Женя вытерла лоб, и вдруг на стене задребезжал звонок телефона. Этого Женя не ожидала: она думала, что этот телефон просто игрушка. Ей стало не по себе. Она сняла трубку.

Голос звонкий и резкий спрашивал:

— Алло! Алло! Отвечайте. Какой осёл обрывает провода и подает сигналы, глупые и непонятные?

— Это не осёл, — пробормотала озадаченная Женя. — Это я — Женя.

— Сумасшедшая девчонка! — резко и почти испуганно прокричал тот же голос. — Оставь штурвальное колесо и беги прочь! Сейчас примчатся... люди, и они тебя поколотят.

Женя бросила трубку, но было уже поздно. Вот на свету показалась чья-то голова: это был Гейка, за ним Сима Симаков, Коля Колокольчиков, а вслед лезли ещё и ещё мальчишки.

— Кто вы такие? — отступая от окна, в страхе спросила Женя. — Уходите!.. Это наш сад. Я вас сюда не звала.

Но плечо к плечу, плотной стеной ребята молча шли на Женю. И, очутившись прижатой к углу, Женя вскрикнула.

В то же мгновение в просвете мелькнула ещё одна тень. Все обернулись и расступились. И перед Женей встал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда.

— Тише, Женя! — громко сказал он. — Кричать не надо. Никто тебя не гронет. Мы с тобой знакомы. Я — Тимур.

— Ты Тимур? — широко раскрывая полные слёз глаза, недоверчиво воскликнула Женя. — Это ты укрыл меня ночью простынёй? Ты оставил мне на столе записку? Ты отправил папе на фронт телеграмму, а мне прислал ключ и квитанцию? Но зачем? За что? Откуда ты меня знаешь?

Тогда он подошёл к ней, взял её за руку и ответил:

— А вот оставайся с нами! Садись и слушай, и тогда тебе всё будет понятно.

На покрытой мешками соломе вокруг Тимура, который разложил перед собой карту посёлка, расположились ребята.

У отверстия выше слухового окна повис на верёвочных качелях наблюдатель. Через его шею был перекинут шнурок с помятым театральным биноклем.

Неподалёку от Тимура сидела Женя и насторожённо прислушивалась и приглядывалась ко всему, что происходит на совещании этого никому не известного штаба. Говорил Тимур:

— Завтра, на рассвете, пока люди спят, я и Колокольчиков исправим оборванные ею (он показал на Женю) провода.

— Он проспит, — хмуро вставил большеголовый, одетый в матросскую тельняшку Гейка. — Он просыпается только к завтраку и к обеду.

— Клевета! — вскакивая и заикаясь, вскричал Коля Колокольчиков. — Я встаю вместе с первым лучом солнца.

— Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой второй, но он проспит обязательно, — упрямо продолжал Гейка.

Тут болтавшийся на верёвках наблюдатель свистнул. Ребята повскакали.

По дороге в клубах пыли мчался конно-артиллерийский дивизион. Могучие, одетые в ремни и железо кони быстро волокли за собою зелёные зарядные ящики и укрытые серыми чехлами пушки.

Обветренные, загорелые ездовые, не качнувшись в



седле, лихо заворачивали за угол, и одна за другой батареи скрывались в роще.

Дивизион умчался.

— Это они на вокзал, на погрузку поехали, — важно объяснил Коля Колокольчиков. — Я по их обмундированию вижу: когда они скачут на учење, когда на парад, а когда и ещё куда.

— Видишь — и молчи! — остановил его Гейка. — Мы и сами с глазами. Вы знаете, ребята, этот болтун хочет убежать в Красную Армию!

— Нельзя, — вмешался Тимур. — Это затея совсем пустая.

— Как нельзя? — покраснев, спросил Коля. — А почему же раньше мальчишки всегда на фронт бегали?

— То раньше! А теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее.

— Как по шее? — вспылив и ещё больше покраснев, вскричал Коля Колокольчиков. — Это... своих-то?

— Да вот!.. — И Тимур вздохнул. — Это своих-то! А теперь, ребята, давайте к делу.

Все расселись по местам.

— В саду дома номер тридцать четыре по Кривому переулку неизвестные мальчишки обтрясли яблоню, — обиженно сообщил Коля Колокольчиков. — Они сломали две ветки и помяли клумбу.

— Чей дом? — И Тимур заглянул в клеёнчатую тетрадь. — Дом красноармейца Крюкова. Кто у нас здесь бывший специалист по чужим садам и яблоням?

— Я, — раздался сконфуженный голос.

— Кто это мог сделать?

— Это работал Мишка Квакин и его помощник под названием «Фигура». Яблоня — мичуринка, сорт «золотой налив» и, конечно, взята на выбор.

— Опять и опять Квакин! — Тимур задумался. — Гейка! У тебя с ним разговор был?

— Был.

— Ну и что же?

— Дал ему два раза по шее.

— А он?

— Ну и он сунул мне два раза тоже.

— Эх у тебя всё — «дал» да «сунул»... А толку что-

то нет. Ладно! Квакиным мы займёмся особо. Давайте дальше.

— В доме номер двадцать пять у старухи молочницы взяли в кавалерию сына, — сообщил из угла кто-то.

— Вот хватил! — И Тимур укоризненно качнул головой. — Да там на воротах ещё третьего дня наш знак поставлен. А кто ставил? Колокольчиков, ты?

— Я.

— Так почему же у тебя верхний левый луч звезды кривой, как пивавка? Взятся сделать — сделай хорошо. Люди придут — смеяться будут. Давайте дальше.

Вскочил Сима Симаков и зачастил уверенно, без запинки:

— В доме номер пятьдесят четыре по Пушкарёвой улице коза пропала. Я иду, вижу — старуха девчонку колотит. Я кричу: «Тётенька, бить не по закону!» Она говорит: «Коза пропала. Ах, будь ты проклята!» — «Да куда же она пропала?» — «А вон там, в овраге за перелеском, обгрызла мочалу и провалилась, как будто её волки съели!»

— Погоди! Чей дом?

— Дом красноармейца Павла Гурьева. Девчонка — его дочь, зовут Нюрка. Колотила её бабка. Как зовут, не знаю. Коза серая, со спины чёрная. Зовут Манька.

— Козу разыскать! — строго приказал Тимур. — Пойдет команда в четыре человека. Ты... ты и ты. Ну, всё, ребята?

— В доме номер двадцать два девчонка плачет, — как бы нехотя сообщил Гейка.

— Чего же она плачет?

— Спрашивал — не говорит.

— Ты спросил бы получше. Может быть, кто-нибудь её поколотил... обидел?

— Спрашивал — не говорит.

— А велика ли девчонка?

— Четыре года.

— Вот ещё беда! Кабы человек... а то — четыре года! Постой, а чей это дом?

— Дом лейтенанта Павлова. Того, что недавно убили на границе.

— «Спрашивал — не говорит», — огорчённо пере-

дразнил Гейку Тимур. Он нахмурился, подумал. — Ладно... Это я сам. Вы к этому делу не касайтесь.

— На горизонте показался Мишка Квакин! — громко доложил наблюдатель. — Идёт по той стороне улицы. Жрёт яблоко. Тимур! Выслать команду: пусть дадут ему тычка или взащеину!

— Не надо. Все оставайтесь на местах. Я вернусь скоро.

Он прыгнул из окна на лестницу и исчез в кустах. А наблюдатель сообщил снова:

— У калитки, в поле моего зрения, неизвестная девица, красивого вида, стоит с кувшином и покупает молоко. Это, наверно, хозяйка дачи.

— Это твоя сестра? — дёргая Женю за рукав, спросил Коля Колокольчиков. И, не получив ответа, он важно и обиженно предостерёг: — Ты смотри не вздумай ей отсюда крикнуть.

— Сиди! — выдёргивая рукав, насмешливо ответила ему Женя. — Тоже ты мне начальник...

— Не лезь к ней, — поддразнил Гейка Колю, — а то она тебя поколотит.

— Меня? — Коля обиделся. — У неё что? Когти? А у меня мускулатура. Вот... ручная, ножная!

— Она поколотит тебя вместе с ручной и ножной. Ребята, осторожно! Тимур подходит к Квакину.

Легко помахивая сорванной веткой, Тимур шёл Квакину наперерез. Заметив это, Квакин остановился. Плоское лицо его не показывало ни удивления, ни испуга.

— Здорово, комиссар! — склонив голову набок, негромко сказал он. — Куда так торопишься?

— Здорово, атаман! — в тон ему ответил Тимур. — К тебе навстречу.

— Рад гостю, да угощать нечем. Разве вот это? — Он сунул руку за пазуху и протянул Тимуру яблоко.

— Ворованные? — спросил Тимур, надкусывая яблоко.

— Они самые, — объяснил Квакин. — Сорт «золотой налив». Да вот беда: нет ещё настоящей спелости.

— Кислятина! — бросая яблоко, сказал Тимур. — Послушай: ты на заборе дома номер тридцать четыре

вот такой знак видел? — И Тимур показал на звезду, вышитую на его синей безрукавке.

— Ну, видел, — насторожился Квакин. — Я, брат, и днём и ночью всё вижу.

— Так вот: если ты днём или ночью ещё раз такой знак где-нибудь увидишь, ты беги прочь от этого места, как будто бы тебя кипятком ошпарили.

— Ой, комиссар! Какой ты горячий! — растягивая слова, сказал Квакин. — Хватит, поговорили!

— Ой, атаман, какой ты упрямый, — не повышая голоса, ответил Тимур. — А теперь запомни сам и передай всей шайке, что этот разговор у нас с вами последний.

Никто со стороны и не подумал бы, что это разговаривают враги, а не два тёплых друга. И поэтому Ольга, державшая в руках кувшин, спросила молочницу, кто этот мальчишка, который совещается о чём-то с хулиганом Квакиным.

— Не знаю, — с сердцем ответила молочница. — Наверное, такой же хулиган и безобразник. Он что-то всё возле вашего дома околачивается. Ты смотри, дорогая, как бы они твою сестрёнку не отколошматили.

Беспокойство охватило Ольгу. С ненавистью взглянула она на обоих мальчишек, прошла на террасу, поставила кувшин, заперла дверь и вышла на улицу разыскивать Женю, которая вот уже два часа, как не показывала глаз домой.

Вернувшись на чердак, Тимур рассказал о своей встрече ребятам. Было решено завтра отправить всей шайке письменный ультиматум.

Бесшумно соскакивали ребята с чердака и через дыры в заборах, а то и прямо через заборы разбегались по домам в разные стороны. Тимур подошёл к Жене.

— Ну что? — спросил он. — Теперь тебе всё понятно?

— Всё, — ответила Женья, — только ещё не очень. Ты объясни мне проще.

— А тогда спускайся вниз и иди за мной. Твоей сестры всё равно сейчас нет дома.

Когда они слезли с чердака, Тимур повалил лестницу.

Уже стемнело, но Женя доверчиво пошла за ним следом.

Они остановились у домика, где жила старуха молочница. Тимур оглянулся. Людей вблизи не было. Он вынул из кармана свинцовый тубик с масляной краской и подошёл к воротам, где была нарисована звезда, верхний левый луч которой действительно изгибался, как пивка.

Уверенно лучи он обровнял, заострил и выпрямил.

— Скажи, зачем? — спросила его Женя. — Ты объясни мне проще: что всё это значит?

Тимур сунул тубик в карман. Сорвал лист лопуха, вытер покрашенный палец и, глядя Жене в лицо, сказал:

— А это значит, что из этого дома человек ушёл в Красную Армию. И с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. У тебя отец в армии?

— Да! — с волнением и гордостью ответила Женя. — Он командир.

— Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже.

Они остановились перед воротами другой дачи. И здесь на заборе была начерчена звезда. Но прямые светлые лучи её были обведены широкой чёрной каймой.

— Вот! — сказал Тимур. — И из этого дома человек ушёл в Красную Армию. Но его уже нет. Это дача лейтенанта Павлова, которого недавно убили на границе. Тут живёт его жена и та маленькая девочка, у которой добрый Гейка так и не добился, отчего она часто плачет. И если тебе случится, то сделай ей, Женя, что-нибудь хорошее.

Он сказал всё это очень просто, но мурашки пробежали по груди и по рукам Жени, а вечер был тёплый и даже душный.

Она молчала, наклонив голову. И только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, она спросила:

— А разве Гейка добрый?

— Да, — ответил Тимур. — Он сын моряка, матроса. Он часто бранит малыша и хвастунишку Коло-

кольчикова, но сам везде и всегда за него заступается.

Окрик, резкий и даже гневный, заставил их обернуться. Неподалёку стояла Ольга.

Женя дотронулась до руки Тимура: она хотела подвести его и познакомить с ним Ольгу.

Но новый окрик, строгий и холодный, заставил её от этого отказаться.

Виновато кивнув Тимуру головой и недоуменно пожав плечами, она пошла к Ольге.

— Евгения! — тяжело дыша, со слезами в голосе сказала Ольга. — Я запрещаю тебе разговаривать с этим мальчишкой. Тебе понятно?

— Но, Оля, — пробормотала Женя, — что с тобою?

— Я запрещаю тебе подходить к этому мальчишке, — твёрдо повторила Ольга. — Тебе тринадцать, мне восемнадцать. Я твоя сестра... Я старше. И когда папа уезжал, он мне велел...

— Но, Оля, ты ничего, ничего не понимаешь! — с отчаянием воскликнула Женя. Она вздрагивала. Она хотела объяснить, оправдаться. Но она не могла. Она была не в праве. И, махнув рукой, она не сказала сестре больше ни слова.

Сразу же она легла в постель. Но уснуть не могла долго. А когда уснула, то так и не слыхала, как ночью постучали в окно и подали от отца телеграмму.

Рассвело. Пропел деревянный рог пастуха. Старуха молочница открыла калитку и погнала корову к стаду. Не успела она завернуть за угол, как из-за куста акации, стараясь не греметь пустыми вёдрами, выскочило пятеро мальчуганов, и они бросились к колодцу.

— Качай!

— Давай!

— Бери!

— Хватай!

Обливая холодной водой босые ноги, мальчишки мчались во двор, опрокидывали вёдра в дубовую кадку и, не задерживаясь, неслись обратно к колодцу. К взмокшему Симе Симакову, который без передышки ворочал рычагом колодезного насоса, подбежал Тимур и спросил:

— Вы Колокольчикова здесь не видали? Нет? Значит, он проспал. Скорей, торопитесь! Старуха пойдёт сейчас обратно.

Очутившись в саду перед дачей Колокольчиковых, Тимур стал под деревом и свистнул. Не дождавшись ответа, он полез на дерево и заглянул в комнату. С дерева ему была видна только половина придвинутой к подоконнику кровати да завёрнутые в одеяло ноги.

Тимур кинул на кровать кусочек коры и тихонько позвал:

— Коля, вставай! Колька!

Спящий не пошевелинулся. Тогда Тимур вынул нож, срезал длинный прут, заострил на конце сучок, перекинул прут через подоконник и, зацепив сучком одеяло, потащил его на себя.

Лёгкое одеяло поползло через подоконник. В комнате раздался хриловатый изумлённый вопль. Вытащив заспанные глаза, с кровати соскочил седой джентльмен в нижнем белье и, хватая рукой уползающее одеяло, подбежал к окну.

Очутившись лицом к лицу с почтенным стариком, Тимур разом слетел с дерева.

А седой джентльмен, бросив на постель отвоёванное одеяло, сдёрнул со стены двустволку, поспешно надел очки и, выставив ружьё из окна дулом к небу, зажмурил глаза и выстрелил.

Только у колодца перепуганный Тимур остановился. Вышла ошибка. Он принял спящего джентльмена за Колю, а седой джентльмен, конечно, принял его за жулика.

Тут Тимур увидел, что старуха молочница с корытцем и ведрами выходит из калитки за водой. Он юркнул за акацию и стал наблюдать. Вернувшись от колодца, старуха подняла ведро, опрокинула его в бочку и сразу отскочила, потому что вода с шумом и брызгами выплеснулась из уже наполненной до краёв бочки прямо ей под ноги.

Охая, недоумевая и оглядываясь, старуха обошла бочку. Она опустила руку в воду и поднесла её к носу. Потом побежала к крыльцу проверить, цел ли за-

мок у двери И наконец, не зная, что и думать, она стала стучать в окно соседке.

Тимур засмеялся и вышел из своей засады. Надо было спешить. Уже поднималось солнце. Коля Колокольчиков не явился, и провода всё ещё исправлены не были.

...Пробираясь к сараю, Тимур заглянул в распахнутое, выходящее в сад окно.

У стола возле кровати в трусах и майке сидела Женя и, нетерпеливо откидывая сползавшие на лоб волосы, что-то писала.

Увидав Тимура, она не испугалась и даже не удивилась. Она только погрозила ему пальцем, чтобы он не разбудил Ольгу, сунула недоконченное письмо в ящик и на цыпочках вышла из комнаты.

Здесь, узнав от Тимура, какая с ним сегодня случилась беда, она позабыла все Ольгины наставления и охотно вызвалась помочь ему наладить ею же самой оборванные провода.

Когда работа была закончена и Тимур уже стоял по ту сторону изгороди, Женя ему сказала:

— Не знаю за что, но моя сестра тебя очень ненавидит.

— Ну вот, — огорчённо ответил Тимур, — и мой дядя тебя тоже!

Он хотел уйти, но она его остановила:

— Постой, причешись. Ты сегодня очень лохматый.

Она вынула гребёнку, протянула её Тимуру, и тотчас же, из окна, раздался негодующий окрик Ольги:

— Женя! Что ты делаешь?..

Сёстры стояли на террасе.

— Я тебе знакомых не выбираю, — с отчаянием защищалась Женя. — Каких? Очень простых. В белых костюмах. «Ах, как ваша сестра прекрасно играет!» Прекрасно! Вы бы лучше послушали, как она прекрасно ругается. Вот смотри! Я уже обо всём пишу папе.

— Евгения! Этот мальчишка — хулиган, а ты глупа, — холодно выговаривала, стараясь казаться спокойной, Ольга. — Хочешь, пиши папе, пожалуйста, но



если я хоть ещё раз увижу тебя с этим мальчишкой рядом, то в тот же день я брошу дачу, и мы уедем отсюда в Москву. А ты знаешь, что у меня слово бывает твёрдое?

— Да... мучительница! — со слезами ответила Женя. — Это-то я знаю.

— А теперь возьми и читай. — Ольга положила на стол полученную ночью телеграмму и вышла.

В телеграмме было написано:

«На днях проездом несколько часов буду Москве число часы телеграфирую дополнительно тчк Папа».

Женя вытерла слёзы, приложила телеграмму к губам и тихо пробормотала:

— Папа, приезжай скорей! Папа! Мне, твоей Женьке, очень трудно.

Во двор того дома, откуда пропала коза и где жила бабка, которая поколотила бойкую девчонку Нюрку, привезли два воза дров.

Ругая беспечных возчиков, которые свалили дрова как попало, кряхтя и охая, бабка начала укладывать поленницу. Но эта работа была ей не под силу. Откашливаясь, она села на ступеньку, отдышалась, взяла лейку и пошла в огород. Во дворе остался теперь только трёхлетний братишка Нюрки — человек, как видно, энергичный и трудолюбивый, потому что едва бабка скрылась, как он поднял палку и начал колотить ею по скамье и по перевёрнутому кверху дном корыту.

Тогда Сима Симаков, только что охотившийся за беглой козой, которая скакала по кустам и оврагам не хуже индийского тигра, одного человека из своей команды оставил на опушке, а с четырьмя другими вихрем ворвался во двор. Он сунул малышу в рот горсть земляники, всучил ему в руки блестящее перо из крыла галки, и вся четвёрка рванулась укладывать дрова в поленницу.

Сам Сима Симаков понёсся кругом вдоль забора, чтобы задержать на это время бабку в огороде. Остановившись у забора, возле того места, где к нему вплотную примыкали вишни и яблони, Сима заглянул в щёлку.

Бабка набрала в подол огурцов и собиралась идти во двор.

Сима Симаков тихонько постучал по доскам забора.

Бабка насторожилась. Тогда Сима поднял палку и начал ею шевелить ветви яблони.

Бабке тотчас же показалось, что кто-то тихонько лезет через забор за яблоками. Она высыпала огурцы на межу, выдернула большой пук крапивы, подкралась и притаилась у забора.

Сима Симаков опять заглянул в щель, но бабки теперь он не увидел. Обеспокоенный, он подпрыгнул, схватился за край забора и осторожно стал подтягиваться.

Но в то же время бабка с торжествующим криком выскочила из своей засады и ловко стегнула Симу Симакова по рукам крапивой. Размахивая обожжёнными руками, Сима помчался к воротам, откуда уже выбегала закончившая свою работу четвёрка.

Во дворе опять остался только один малыш. Он поднял с земли щепку, положил её на край поленницы, потом поволок туда же кусок берёсты.

За этим занятием и застала его вернувшаяся из огорода бабка. Вытаращив глаза, она остановилась перед аккуратно сложенной поленницей и спросила:

— Это кто же тут без меня работает?

Малыш, укладывая берёсту в поленницу, важно ответил:

— А ты, бабушка, не видишь — это я работаю.

Во двор вошла молочница, и обе старухи оживлённо начали обсуждать эти странные происшествия с водой и дровами. Пробовали они добиться ответа у малыша, однако добились немногого. Он объяснил им, что прискочили из ворот люди, сунули ему в рот сладкой земляники, дали перо и ещё пообещали поймать ему зайца с двумя ушами и четырьмя ногами. А потом дрова покидали и опять ускочили.

В калитку вошла Нюрка.

— Нюрка, — спросила её бабка, — ты не видела, кто к нам сейчас во двор заскакивал?

— Я козу искала, — уныло ответила Нюрка. — Я всё утро по лесу да по оврагам сама скакала.

— Украли! — горестно пожаловалась бабка молоч

нице. — А какая была коза! Ну, голубь, а не коза. Голубь!

— Голубь! — отодвигаясь от бабки, огрызнулась Нюрка. — Как почнёт шнырять рогами, так не знаешь, куда и деваться. У голубей рогов не бывает.

— Молчи, Нюрка! Молчи, разиня бестолковая! — закричала бабка. — Оно, конечно, коза была с характером. И я её, козушку, продать хотела. А теперь вот моей голубушки и нету.

Калитка со скрипом распахнулась. Низко опустив рога, во двор вбежала коза и устремилась прямо на молочницу. Подхватив тяжёлый бидон, молочница с визгом вскочила на крыльцо, а коза, ударившись рогами о стену, остановилась.

И тут все увидали, что к рогам козы крепко прикручен фанерный плакат, на котором крупно было выведено:

Я коза-коза,  
Всех людей гроза,  
Кто Нюрку будет бить,  
Тому худо будет жить.

А на углу за забором хохотали довольные ребяташки.

Воткнув в землю палку, притопывая вокруг неё, приплясывая, Сима Симаков гордо пропел:

Мы не шайка и не банда,  
Не ватага удалцов.  
Мы весёлая команда  
Пионеров-молодцов.  
У-ух, ты!

И, как стайка стрижей, ребята стремительно и шумно умчались прочь.

Работы на сегодня было ещё немало, но, главное, сейчас надо было составить и отослать Мишке Квакину ультиматум

Как составляются ультиматумы, этого ещё никто не знал, и Тимур спросил об этом у дяди.

Тот объяснил ему, что каждая страна пишет ультиматум на свой манер, но в конце для вежливости полагается приписать:

«Примите, господин министр, уверение в совершеннейшем к Вам почтении».

Затем ультиматум через аккредитованного посла вручается правителю враждебной державы.

Но это дело ни Тимуру, ни его команде не понравилось. Во-первых, никакого почтения хулигану Квакину они передавать не хотели; во-вторых, ни постоянного посла, ни даже посланника при этой шайке у них не было. И, посоветовавшись, они решили отправить ультиматум попроще, на манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки боролись с турками, татарами и ляхами.

За серыми воротами с чёрно-красной звездой, в тенистом саду того дома, что стоял напротив дачи, где жили Ольга и Женя, по песчаной аллейке шла маленькая белокурая девчушка. Её мать, женщина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомлённым, сидела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых цветов. Перед ней лежала груда распечатанных телеграмм и писем — от родных и от друзей, знакомых и незнакомых.

Письма и телеграммы эти были тёплые и ласковые. Они звучали издали, как лесное эхо, которое никуда путника не зовёт, ничего не обещает и всё же подбадривает и подсказывает ему, что люди близко и в тёмном лесу он не одинок.

Держа куклу кверху ногами, так, что деревянные руки и пеньковые косы её волочились по песку, белокурая девочка остановилась перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из фанеры заяц. Он дёргал лапой, тренькая по струнам нарисованной балалайки, и мордочка у него была грустновато-смешная.

Восхищённая таким необъяснимым чудом, равного которому, конечно, и нет на свете, девочка выронила куклу, подошла к забору, и добрый заяц послушно опустился ей прямо в руки. А вслед за зайцем выглянуло лукавое и довольное лицо Жени.

Девочка посмотрела на Женю и спросила:

— Это ты со мной играешь?

— Да, с тобой. Хочешь, я к тебе спрыгну?

— Здесь крапива, — подумав, предупредила девочка. — И здесь я вчера обожгла себе руку.

— Ничего, — прыгивая с забора, сказала Женя, — я не боюсь. Покажи, какая тебя вчера обожгла крапива? Вот эта? Ну, смотри: я её вырвала, бросила, растоптала ногами и на неё плюнула. Давай с тобой играть: ты держи зайца, а я возьму куклу.

Ольга видела с крыльца террасы, как Женя вертелась около чужого забора, но она не хотела мешать сестрёнке, потому что та и так сегодня утром много плакала. Но когда Женя полезла на забор и спрыгнула в чужой сад, обеспокоенная Ольга вышла из дома, подошла к воротам и открыла калитку. Женя и девчурка стояли уже у окна, возле женщины, и та улыбалась, когда дочка показывала ей, как грустный смешной заяц играет на балалайке.

По встревоженному лицу Жени женщина угадала, что вошедшая в сад Ольга недовольна.

— Вы на неё не сердитесь, — негромко сказала Ольге женщина. — Она просто играет с моей девчуркой. У нас горе... — Женщина помолчала. — Я плачу, а она, — женщина показала на свою крохотную дочку и тихо добавила: — а она и не знает, что её отца недавно убили на границе.

Теперь смутилась Ольга, а Женя издали посмотрела на неё горько и укоризненно.

— А я одна, — продолжала женщина. — Мать у меня в горах, в тайге, очень далеко, братья в армии, сестёр нет.

Она тронула за плечо подошедшую Женю и, указывая на окно, спросила:

— Девочка, этот букет ночью не ты мне на крыльцо положила?

— Нет, — быстро ответила Женя. — Это не я. Но это, наверное, кто-нибудь из наших.

— Кто? — И Ольга непонимающе взглянула на Женю.

— Я не знаю, — испугавшись заговорила Женя, — это не я. Я ничего не знаю. Смотрите, сюда идут люди.

За воротами послышался шум машины, а по дорожке от калитки шли два лётчика-командира.

— Это ко мне, — сказала женщина. — Они, конечно, опять будут предлагать мне уехать в Крым, на Кавказ, на курорт, в санаторий...

Оба командира подошли, приложили руки к пилоткам, и, очевидно, расслышав её последние слова, старший — капитан — сказал:

— Ни в Крым, ни на Кавказ, ни на курорт, ни в санаторий. Вы хотели повидать вашу маму? Ваша мать сегодня поездом выезжает к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном самолёте.

— Кем? — радостно и растерянно воскликнула женщина. — Вами?

— Нет, — ответил лётчик-капитан, — нашими и вашими товарищами.

Подбежала маленькая девчурка, смело посмотрела на пришедших, и видно, что синяя форма эта ей была хорошо знакома.

— Мама, — попросила она, — сделай мне качели, и я буду летать туда-сюда, туда-сюда. Далеко-далеко, как папа.

— Ой, не надо! — подхватывая и сжимая дочурку, воскликнула её мать. — Нет, не улетай так далеко... как твой папа.

На Малой Овражной, позади часовни с облупленной росписью, изображавшей суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов, правей картины страшного суда с котлами, смолой и юркими чертями, на ромашковой поляне ребята из компании Мишки Квакина играли в карты.

Денег у игроков не было, и они резались «на тычка», «на щелчка» и на «оживи покойника». Проигравшему завязывали глаза, клали его спиной на траву и давали ему в руки свечку, то есть длинную палку. И этой палкой он должен был вслепую отбиваться от добрых собратий своих, которые, сожалея усопшего, старались вернуть его к жизни, усердно настёгивая крапивой по голым коленям, икрам и пяткам.

Игра была в самом разгаре, когда за оградой раздался резкий звук сигнальной трубы. Это снаружи у стены стояли посланцы от команды Тимура.

Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в руке

медный блестящий горн, а босоногий суровый Гейка держал склеенный из обёрточной бумаги пакет.

— Это что же тут за цирк или комедия? — перегибаясь через ограду, спросил паренек, которого звали Фигурой. — Мишка! — оборачиваясь, заорал он. — Брось карты, тут к тебе какая-то церемония пришла!

— Я тут, — залезая на ограду, отозвался Квакин. — Эге, Гейка, здорово! А это еще что с тобой за хлюпик?

— Возьми пакет, — протягивая ультиматум, сказал Гейка. — Сроку на размышление вам двадцать четыре часа дадено. За ответом приду завтра в такое же время.

Обиженный тем, что его называли хлюпиком, штаб-трубач Коля Колокольчиков вскинул горн и, раздувая щёки, яростно протрубил отбой. И, не сказав больше ни слова, под любопытными взглядами рассыпавшихся по ограде мальчишек оба парламентаря с достоинством удалились.

— Это что же такое? — переворачивая пакет и оглядывая разинувших рты ребят, спросил Квакин. — Жили, жили, ни о чем не тужили... Вдруг... труба, гроза! Я, братцы, право, ничего не понимаю!..

Он разорвал пакет и, не слезая с ограды, стал читать:

— «Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину...» Это мне, — громко объяснил Квакин. — С полным титулом, по всей форме. «...и его, — продолжал он читать, — гнуснопрославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой...» — Это тебе, — с удовлетворением объяснил Квакин Фигуре. — Эх они завернули: «гнуснопрославленный!» Это уж что-то очень по-благородному, могли бы дурака назвать и попроще, «...а также ко всем членам этой позорной компании ультиматум». Это что такое, я не знаю, — насмешливо объяснил Квакин. — Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле.

— Это такое международное слово. Бить будут, — объяснил стоявший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алёшка.

— А, так бы и писали! — сказал Квакин. — Читаю дальше. Пункт первый:

«Ввиду того, что вы по ночам совершаете налёты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак — красная звезда, и даже тех,

на которых стоит звезда с траурной чёрной каймою, вам, трусливым негодьям, мы приказываем...»

— Ты посмотри, как, собаки, ругаются! — смутившись, но пытаясь улыбнуться, продолжал Квакин. — А какой дальше слог, какие запяты! Да!

«...приказываем: не позже чем завтра утром Михаилу Квакину и гнусноподобной личности Фигуре явиться на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки.

А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий».

— То есть в каком смысле свободу? — опять переспросил Квакин. — Мы их, кажется, пока никуда не заперли.

— Это такое международное слово. Бить будут, — опять объяснил бритоголовый Алёшка.

— А, тогда так бы и говорили! — с досадой сказал Квакин. — Жаль, что ушёл Гейка; видно, он давно не плакал.

— Он не заплачет, — сказал бритоголовый, — у него брат — матрос.

— Ну?

— У него и отец был матросом. Он не заплачет.

— А тебе-то что?

— А то, что у меня дядя матрос тоже.

— Вот дурак — заладил! — рассердился Квакин. — То отец, то брат, то дядя. А что к чему, неизвестно. Отрасти, Алёша, волосы, а то тебе солнцем напекло затылок. А ты что там мычишь, Фигура?

— Гонцов надо завтра изловить, а Тимку и его компанию излупить, — коротко и угрюмо предложил обиженный ультиматумом Фигура.

На том и порешили.

Отойдя в тень часовни и остановившись вдвоём возле картины, где проворные мускулистые черти ловко волокли в пекло воющих и упирающихся грешников, Квакин спросил у Фигуры:

— Слушай, это ты в тот сад лазил, где живёт девчонка, у которой отца убили?

— Ну, я.

— Так вот... — с досадой пробормотал Квакин,



пкая пальцем в стену. — Мне, конечно, на Тимкины шаки наплевать, и Тимку я всегда бить буду...

— Хорошо, — согласился Фигура. — А что ты мне пальцем на чертей тычешь?

— А то, — скривив губы, ответил ему Квакин, — что ты мне хоть и друг, Фигура, но никак на человека не похож ты, а скорей вот на этого толстого и поганого чёрта.

...Утром молочница не застала дома троих постоянных покупателей. На базар было идти уже поздно, и, извалив бидон на плечи, она отправилась по квартирам. Она ходила долго без толку и, наконец, остановилась возле дачи, где жил Тимур.

За забором она услышала густой, приятный голос: кто-то негромко пел. Значит, хозяева были дома, и здесь можно было ожидать удачи.

Пройдя через калитку, старуха нараспев закричала:

— Молока не надо ли, молока?

— Две кружки! — раздался в ответ басистый голос.

Скинув с плеча бидон, молочница обернулась и увидела выходящего из кустов косматого, одетого в лохмотья хромоногого старика, который держал в руке кривую обнажённую саблю.

— Я, батюшка, говорю, молочка не надо ли? — оробев и попятившись, предложила молочница. — Экий ты, отец мой, с виду серьёзный! Ты что ж это, саблей траву косишь?

— Две кружки. Посуда на столе, — коротко ответил старик и воткнул саблю клинком в землю.

— Ты бы, батюшка, купил косу, — торопливо наливая молоко в кувшин и опасливо поглядывая на старика, говорила молочница. — А саблю лучше брось. Этакой саблей простого человека и до смерти напугать можно.

— Платить сколько? — засовывая руку в карман широченных штанов, спросил старик.

— Как у людей, — ответила ему молочница. — По рубль сорок — всего два восемьдесят. Лишнего мне не надо.

Старик пошарил и достал из кармана большой ободранный револьвер.

— Я, батюшка, потом... — подхватывая бидон и поспешно удаляясь, заговорила молочница. — Ты, дорогой мой, не трудись! — прибавляя ходу и не переставая оборачиваться, продолжала она. — Мне, золотой, деньги не к спеху.

Она выскочила за калитку, захлопнула её и сердито с улицы закричала:

— В больнице тебя, старого чёрта, держать надо, а не пускать по воле. Да, да! На замке, в больнице.

Старик пожал плечами, сунул обратно в карман вынутую оттуда трёшницу и тотчас же спрятал револьвер за спину, потому что в сад вошел пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков. С лицом сосредоточенным и серьёзным, опираясь на палку, прямую, несколько деревянную походкой он шагал по песчаной аллее.

Увидав чудного старика, джентльмен кашлянул, поправил очки и спросил:

— Не скажешь ли ты, любезный, где мне найти владельца этой дачи?

— На этой даче живу я, — ответил старик.

— В таком случае, — прикладывая руку к соломенной шляпе, продолжал джентльмен, — вы мне скажете: не приходится ли вам некий мальчик, Тимур Гараев, родственником?

— Да, приходится, — ответил старик. — Этот некий мальчик — мой племянник.

— Мне очень прискорбно, — откашливаясь и недоуменно косясь на торчавшую в земле саблю, начал джентльмен, — но ваш племянник сделал вчера утром попытку ограбить наш дом.

— Что?! — изумился старик. — Мой Тимур хотел ваш дом ограбить?

— Да, представьте! — заглядывая старику за спину и начиная волноваться, продолжал джентльмен. — Он сделал попытку во время моего сна похитить укрывавшее меня байковое одеяло.

— Кто? Тимур вас ограбил? Похитил байковое одеяло? — растерялся старик. И спрятанная у него за спиной рука с револьвером невольно опустилась.

Волнение овладело почтенным джентльменом, и, с достоинством пятаясь к выходу, он заговорил:

— Я, конечно, не утверждал бы, но факты... фак-

ты! Милостивый государь! Я вас прошу, вы ко мне не приближайтесь. Я, конечно, не знаю, чему приписать... Но ваш вид, ваше странное поведение...

— Послушайте, — шагая к джентльмену, произнёс старик, — но всё это, очевидно, недоразумение!

— Милостивый государь! — не спуская глаз с револьвера и не переставая пятиться, вскричал джентльмен. — Наш разговор принимает нежелательное и, я бы сказал, недостойное нашего возраста направление.

Он выскочил за калитку и быстро пошёл прочь, повторяя:

— Нет, нет, нежелательное и недостойное направление...

Старик подошёл к калитке как раз в ту минуту, когда шедшая купаться Ольга поравнялась с взволнованным джентльменом.

Тут вдруг старик замахал руками и закричал Ольге, чтобы она остановилась. Но джентльмен проворно, как козёл, перепрыгнул через канаву, схватил Ольгу за руку, и оба они мгновенно скрылись за углом.

Тогда старик расхохотался. Возбуждённый и обрадованный, бойко притопывая своей деревяшкой, он пропел:

А вы и не поймёте  
На быстром самолёте,  
Как вас ожидала я до утренней зари.  
Да!

Он отстегнул ремень у колена, швырнул на траву деревянную ногу и, на ходу сдирая парик и бороду, помчался к дому.

Через десять минут молодой и весёлый инженер Георгий Гараев сбежал с крыльца, вывел мотоцикл из сарая, крикнул собаке Рите, чтобы она караулила дом, нажал стартёр и, вскочив в седло, помчался к реке разыскивать напуганную им Ольгу.

...В одиннадцать часов Гейка и Коля Колокольчиков отправились за ответом на ультиматум.

— Ты иди ровно, — ворчал Гейка на Колю. — Ты шагай легко, твёрдо. А ты ходишь, как цыплёнок за червяком скачет. И всё у тебя, брат, хорошо — и штаны, и рубаха, и вся форма, а виду у тебя всё равно нет. Ты, брат, не обижайся, я тебе дело говорю. Ну, вот скажи: зачем ты идёшь и языком губы мусолишь?

Ты запихай язык в рот, и пусть он там и лежит на своём месте... А ты зачем появился? — спросил Гейка, увидав выскочившего наперерез Симу Симакова.

— Меня Тимур послал для связи, — затараторил Симаков. — Так надо, и ты ничего не понимаешь. Вам своё, а у меня своё дело. Коля, дай-ка я дудану в трубу. Экий ты сегодня важный! Гейка, дурак! Идёшь по делу — надел бы сапоги, ботинки. Разве послы босиком ходят? Ну ладно, вы туда, а я сюда. Гоп-гоп, до свиданья!

— Этакий балабон! — покачал головой Гейка. — Скажет сто слов, а можно бы четыре. Труби, Николай, вот и ограда.

— Подавай навверх Михаила Квакина! — приказал Гейка высунувшемуся сверху мальчишке.

— А заходите справа! — закричал из-за ограды Квакин. — Там для вас нарочно ворота открыты.

— Не ходи, — дёргая за руку Гейку, прошептал Коля. — Они нас поймают и поколотят.

— Это все на двоих-то? — надменно спросил Гейка. — Труби, Николай, громче. Нашей команде везде дорога.

Они прошли через ржавую железную калитку и очутились перед группой ребят, впереди которых стояли Фигура и Квакин.

— Ответ на письмо давайте, — твёрдо сказал Гейка.

Квакин улыбался, Фигура хмурился.

— Давай поговорим, — предложил Квакин. — Ну, сядь, посиди, куда торопишься?

— Ответ на письмо давайте, — холодно повторил Гейка. — А разговаривать с вами будем мы после.

И было странно, непонятно: играет ли он, шутит ли, этот прямой коренастый мальчишка в матросской тельняшке, возле которого стоит маленький, уже побледневший трубач? Или, прищурив строгие серые глаза свои, босоногий, широкоплечий, он и на самом деле требует ответа, чувствуя за собою и право и силу?

— На, возьми, — протягивая бумагу, сказал Квакин.

Гейка развернул лист. Там было грубо нарисован кукиш, под которым стояло ругательство.

Спокойно, не изменившись в лице, Гейка разорвал

бумагу. В ту же минуту он и Коля крепко были схвачены за плечи и за руки.

Они не сопротивлялись.

— За такие ультиматумы надо бы вам набить шишу, — подходя к Гейке, сказал Квакин. — Но... мы люди добрые. До ночи мы запряём вас вот сюда, — он показал на часовню, — а ночью мы обчистим сад под номером двадцать четыре наголо.

— Этого не будет, — ровно ответил Гейка.

— Нет, будет! — крикнул Фигура и ударил Гейку по щеке.

— Бей хоть сто раз, — зажмурившись и вновь открывая глаза, сказал Гейка. — Коля, — подбадривающе буркнул он, — ты не робей. Чую я, что будет сегодня у нас позывной сигнал по форме номер один общий.

Пленников втолкнули внутрь маленькой часовни с наглухо закрытыми железными ставнями. Обе двери за ними закрыли, задвинули засов и забили его деревянным клином.

— Ну что? — подходя к двери и прикладывая ко рту ладонь, закричал Фигура. — Как оно теперь: по-нашему или по-вашему выйдет?

И из-за двери глухо, едва слышно донеслось:

— Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда и ничего не выйдет.

Фигура плюнул.

— У него брат — матрос, — хмуро объяснил бритоголовый Алёшка. — Они с моим дядей на одном корабле служат.

— Ну, — угрожающе спросил Фигура, — а ты кто — капитан, что ли?

— У него руки схвачены, а ты его бьёшь. Это хорошо ли?

— На́ и тебе тоже! — обозлился Фигура и ударил Алёшку наотмашь.

Тут оба мальчишки покатались на траву. Их тянули за руки, за ноги, разнимали...

И никто не посмотрел наверх, где в густой листве липы, что росла близ ограды, мелькнуло лицо Симы Симакова.

Винтом соскользнул он на землю. И напрямик, че-

рез чужие огороды, помчался к Тимуру, к своим на речку.

Прикрыв голову полотенцем, Ольга лежала на горячем песке пляжа и читала.

Женя купалась. Неожиданно кто-то обнял её за плечи.

Она обернулась.

— Здравствуй, — сказала ей высокая темноглазая девочка. — Я приплыла от Тимура. Меня зовут Таней, и я тоже из его команды. Он жалеет, что тебе из-за него от сестры попало. У тебя сестра, наверное, очень злая?

— Пусть он не жалеет, — покраснев, пробормотала Женя. — Ольга совсем не злая, у неё такой характер. — И, всплеснув руками, Женя с отчаянием добавила: — Ну, сестра! сестра! и сестра! Вот погодите, придет папа...

Они вышли из воды и забрались на крутой берег, левой песчаного пляжа. Здесь они наткнулись на Нюрку.

— Девочка, ты меня узнала? — как всегда быстро и сквозь зубы, спросила она у Жени. — Да! Я тебя узнала сразу. А вон Тимур! — сбросив платье, показала она на усыпанный ребятами противоположный берег. — Я знаю, кто мне поймал козу, кто нам уложил дрова и кто дал моему братишке землянику. И тебя я тоже знаю, — обернулась она к Тане. — Ты один раз сидела на грядке и плакала. А ты не плачь. Что толку?.. Гей! Сиди, чертовка, или я тебя сброшу в реку! — закричала она на привязанную к кустам козу. — Девочки, давайте в воду прыгнем!

Женя и Таня переглянулись. Очень уж она была смешная, эта маленькая, загорелая, похожая на цыганку Нюрка.

Взявшись за руки, они подошли к самому краю обрыва, под которым плескалась ясная, голубая вода.

— Ну, прыгнули?

— Прыгнули!

И они разом бросились в воду.

Но не успели девчонки вынырнуть, как вслед за ними бултыхнулся кто-то четвёртый.

Это, как он был — в сандалиях, трусах и майке, — Сима Симаков с разбегу кинулся в реку. И, отряхивая

слипшиеся волосы, отплёвываясь и отфыркиваясь, длинными сажёнками он поплыл на другой берег.

— Беда, Женя, беда! — прокричал он, обернувшись. — Гейка и Коля попали в засаду!

...Читая книгу, Ольга поднималась в гору. И там, где крутая тропка пересекала дорогу, её встретил стоявший возле мотоцикла Георгий. Они поздоровались.

— Я ехал, — объяснил ей Георгий, — смотрю, вы идёте. Дай, думаю, подожду и подвезу, если по дороге.

— Неправда! — не поверила Ольга. — Вы стояли и ожидали меня нарочно.

— Ну, верно, — согласился Георгий. — Хотел со-  
врать, да не вышло. Я должен перед вами извиниться за то, что напугал вас утром. А ведь хромым старик у калитки — это был я. Это я в гриме готовился к репетиции. Садитесь, я подвезу вас на машине.

Ольга отрицательно качнула головой.

Он положил ей букет на книгу. Букет был хорош. Ольга покраснела, растерялась и... бросила его на дорогу.

Этого Георгий не ожидал.

— Послушайте! — огорчённо сказал он. — Вы хорошо играете, поёте, глаза у вас прямые, светлые. Я вас ничем не обидел. Но мне думается, что так, как вы, не поступают люди... даже самой железобетонной специальности.

— Цветов не надо! — сама испугавшись своего поступка, виновато ответила Ольга. — Я... и так, без цветов, с вами поеду.

Она села на кожаную подушку, и мотоцикл полетел вдоль дороги.

Дорога раздваивалась, но, минув ту, что сворачивала к посёлку, мотоцикл вырвался в поле.

— Вы не туда повернули, — крикнула Ольга, — нам надо направо!

— Здесь дорога лучше, — отвечал Георгий, — здесь дорога весёлая.

Опять поворот, и они промчались через шумливую тенистую рощу. Выскочила из стада и затыкала, пытаясь догнать их, собака. Но нет! Куда там! Далеко.

Как тяжёлый снаряд, прогудела встречная грузовая машина.

И когда Георгий и Ольга вырвались из поднятых клубов пыли, то под горой увидели дым, трубы, башни, стекло и железо какого-то незнакомого города.

— Это наш завод! — прокричал Ольге Георгий. — Три года тому назад я сюда ездил собирать грибы и землянику.

Почти не уменьшая хода, машина круто развернулась.

— Прямо! — предостерегающе кричала Ольга. — Давайте только прямо домой.

Вдруг мотор заглох, и они остановились.

— Подождите, — соскакивая, сказал Георгий, — маленькая авария.

Он положил машину на траву под берёзой, достал из сумки ключ и принялся что-то подвёртывать и подтягивать.

— Вы кого в вашей опере играете? — присаживаясь на траву, спросила Ольга. — Почему у вас грим такой суровый и страшный?

— Я играю старика инвалида, — не переставая возиться у мотоцикла, ответил Георгий. — Он бывший партизан, и он немного... не в себе. Он живёт близ границы, и ему всё кажется, что враги нас перехитрят и обманут. Он стар, но он осторожен. Красноармейцы же молодые, смеются, после караула в волейбол играют. Девчонки там у них разные... Катюши!

Георгий нахмурился и тихо запел:

За тучами опять померкнула луна.  
Я третью ночь не сплю в глухом дозоре.  
Ползут в тиши враги. Не спи, моя страна!  
Я стар. Я слаб. О горе мне... о горе!

Тут Георгий переменял голос и, подражая хору, пропел:

Старик, спокойно... спокойно!

— Что значит «спокойно»? — утирая платком запыханные губы, спросила Ольга.

— А это значит, — продолжая стучать ключом по втулке, объяснял Георгий, — это значит, что: спи спокойно, старый дурак, давно уже все бойцы и командиры стоят на своём месте... Оля, ваша сестрёнка о моей с ней встрече вам говорила?



— Говорила, я её выругала.

— Напрасно. Очень забавная девочка. Я ей говорю «а», она мне «бэ»!

— С этой забавной девочкой хлебнёшь горя, — снова повторила Ольга. — К ней привязался какой-то мальчишка, зовут Тимур. Он из компании хулигана Квакуина. И никак я его от нашего дома не могу отвадить.

— Тимур!.. Гм... — Георгий смущённо кашлянул. — Разве он из компании? Он, кажется, не того... не очень.. Ну ладно! Вы не беспокойтесь... Я его от вашего дома отважу. Оля, почему вы не учитесь в консерватории? Подумаешь — инженер! Я и сам инженер, а что толку?

— Разве вы плохой инженер?

— Зачем плохой? — подвигаясь к Ольге и начиная теперь стучать по втулке переднего колеса, ответил Георгий. — Совсем не плохой, но вы очень хорошо играете и поёте.

— Послушайте, Георгий, — смущённо отодвигаясь, сказала Ольга. — Я не знаю, какой вы инженер, но... чините вы машину как-то очень странно.

И Ольга помахала рукой, показывая, как он постукивает ключом то по втулке, то по ободу.

— Ничего не странно. Всё делается так, как надо. — Он вскочил и стукнул ключом по раме. — Ну, вот и готово! Оля, ваш отец командир?

— Да.

— Это хорошо. Я и сам командир тоже.

— Кто вас разберёт! — пожалала плечами Ольга. — То вы инженер, то вы актёр, то командир. Может быть, к тому же ещё и летчик?

— Нет, — усмехнулся Георгий. — Лётчики глушат бомбами по головам сверху, а мы с земли через железо и бетон бьём прямо в сердце.

И опять перед ними замелькали рожь, поля, рощи, речка. Наконец вот и дача.

На треск мотоцикла с террасы выскочила Женья. Увидев Георгия, она смутилась, но когда он умчался, то, глядя ему вслед, Женья подошла к Ольге, обняла её и с завистью сказала:

— Ох, какая ты сегодня счастливая!

Условившись встретиться неподалёку от сада дома № 24, мальчишки из-за ограды разбежались.

Задержался только один Фигура. Его злило и удивляло молчание внутри часовни. Пленники не кричали, не стучали и на вопросы и окрики Фигуры не отзывались.

Тогда Фигура пустился на хитрость. Открыв наружную дверь, он вошёл в каменный простенок и замер, как будто бы его здесь не было.

И так, приложив к замку ухо, он стоял до тех пор, пока наружная железная дверь не захлопнулась с таким грохотом, как будто бы по ней ударили бревном.

— Эй, кто там? — бросаясь к двери, рассердился Фигура. — Эй, не балуй, а то дам по шее!

Но ему не отвечали. Снаружи слышались чужие голоса. Заскрипели петли ставен. Кто-то через решётку окна переговаривался с пленниками. Затем внутри часовни раздался смех. И от этого смеха Фигуре стало плохо.

Наконец наружная дверь распахнулась. Перед Фигурой стояли Тимур, Симаков и Ладыгин.

— Открой второй засов! — не двигаясь, приказал Тимур. — Открой сам, или будет хуже!

Нехотя Фигура отодвинул засов. Из часовни вышли Коля и Гейка.

— Лезь на их место! — приказал Тимур. — Лезь, гадина, быстро! — сжимая кулаки, крикнул он. — Мне с тобой разговаривать некогда!

Захлопнули за Фигурой обе двери. Наложили на петлю тяжёлую перекладину и повесили замок.

Потом Тимур взял лист бумаги и синим карандашом коряво написал:

«Квакин, караулить не надо. Я их запер, ключ у меня. Я приду прямо на место, к саду, вечером».

Затем все скрылись. Через пять минут за ограду зашёл Квакин.

Он прочёл записку, потрогал замок, ухмыльнулся и пошёл к калитке, в то время как запертый Фигура отчаянно колотил кулаками и пятками по железной двери.

От калитки Квакин обернулся и равнодушно проворчал:

— Стучи, Гейка, стучи! Нет, брат, ты ещё до вечера настучишься.

Дальше события развёртывались так.

Перед заходом солнца Тимур и Симаков сбежали на рыночную площадь. Там, где в беспорядке выстроились ларьки — квас, воды, овощи, табак, бакалея, мороженое, — у самого края торчала неуклюжая пустая будка, в которой по базарным дням работали сапожники.

В будке этой Тимур и Симаков пробыли недолго.

В сумерки на чердаке сарая заработало штурвальное колесо. Один за одним натягивались крепкие верёвочные провода, передавая туда, куда надо, и те, что надо, сигналы.

Подходили подкрепления. Собрались мальчишки; их было уже много — двадцать — тридцать. А через дыры заборов тихо и бесшумно проскальзывали всё новые и новые люди.

Таню и Нюрку отослали обратно. Женя сидела дома. Она должна была задерживать и не пускать в сад Ольгу.

На чердаке у колеса стоял Тимур.

— Повтори сигнал по шестому проводу, — озабоченно попросил просунувшийся в окно Симаков. — Там что-то не отвечают.

Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то плакат. Подошло звено Ладыгина.

Наконец пришли разведчики. Шайка Квакина собиралась на пустыре близ сада дома № 24.

— Пора, — сказал Тимур. — Всем приготовиться!

Он выпустил из рук колесо, взялся за верёвку. И над старым сараем под неровным светом бегущей меж облаков луны медленно поднялся и заколыхался флаг команды — сигнал к бою.

...Вдоль забора дома № 24 продвигалась цепочка из десятка мальчишек. Остановившись в тени, Квакин сказал:

— Все на месте, а Фигуры нет.

— Он хитрый, — ответил кто-то. — Он, наверное, уже в саду. Он всегда вперёд лезет.

Квакин отодвинул две заранее снятые с гвоздей доски и пролез через дыру. За ним полезли и остальные. На улице у дыры остался один часовой — Алёшка.

Из поросшей крапивой и бурьяном канавы по дру-

гой стороне улицы выглянуло пять голов. Четыре из них сразу же спрятались. Пятая — Коли Колокольчикова — задержалась, но чья-то ладонь хлопнула её по макушке, и голова исчезла.

Часовой Алёшка оглянулся. Всё было тихо, и он просунул голову в отверстие — послушать, что делается внутри сада. От канавы отделилось трое. И в следующее мгновение часовой почувствовал, как крепкая сила рванула его за ноги, за руки. И, не успев крикнуть, он отлетел от забора.

— Гейка, — пробормотал он, поднимая лицо, — ты откуда?

— Оттуда, — прошипел Гейка. — Смотри молчи! А то я не посмотрю, что ты за меня заступался.

— Хорошо, — согласился Алёшка, — я молчу. — И неожиданно он пронзительно свистнул.

Но тотчас же рот его был зажат широкой ладонью Гейки. Чьи-то руки подхватили его за плечи, за ноги и уволокли прочь.

Свист в саду услышали. Квакин обернулся. Свист больше не повторялся. Квакин внимательно оглядывался по сторонам. Теперь ему показалось, что кусты в углу сада шевельнулись.

— Фигура! — негромко окликнул Квакин. — Это ты там, дурак, прячешься?

— Мишка! Огонь! — крикнул вдруг кто-то. — Это идут хозяева!

Но это были не хозяева.

Позади, в гуще листвы, вспыхнуло не меньше десятка электрических фонарей. И, слепя глаза, они стремительно надвигались на растерявшихся налётчиков.

— Бей, не отступай! — выхватывая из кармана яблоко и швыряя по огням, крикнул Квакин. — Рви фонари с руками! Это идёт он... Тимка!

— Там Тимка, а здесь Симка! — гаркнул, вырываясь из-за куста, Симаков.

И ещё десяток мальчишек рванулись с тылу и с фланга.

— Эге! — заорал Квакин. — Да у них сила! За забор вылетай, ребята!

Попавшая в засаду шайка в панике метнулась к забору.

Толкаясь, сшибаясь лбами, мальчишки выскакивали на улицу и попадали прямо в руки Ладыгина и Гейки.

Луна совсем спряталась за тучи. Слышны были только голоса:

— Пусти!

— Оставь!

— Не лезь! Не тронь!

— Всем тише! — раздался в темноте голос Тимура. — Пленных не бить! Где Гейка?

— Здесь Гейка!

— Веди всех на место.

— А если кто не пойдёт?

— Хватайте за руки, за ноги и тащите с почётом, как икону богородицы.

— Пустите, черти! — раздался чей-то плачущий голос.

— Кто кричит? — гневно спросил Тимур. — Хулиганить мастера, а отвечать боитесь! Гейка, давай команду, двигай!

Пленников подвели к пустой будке на краю базарной площади. Тут их одного за другим протолкнули за дверь.

— Михаила Квакина ко мне, — попросил Тимур.

Подвели Квакина.

— Готово? — спросил Тимур.

— Всё готово.

Последнего пленника втолкнули в будку, задвинули засов и просунули в пробой тяжёлый замок.

— Ступай, — сказал тогда Тимур Квакину. — Ты смешон. Ты никому не страшен и не нужен.

Ожидая, что его будут бить, ничего не понимая, Квакин стоял, опустив голову.

— Ступай, — повторил Тимур. — Возьми вот этот ключ и отопри засовню, где сидит твой друг Фигура. Квакин не уходил.

— Отопри ребят, — хмуро попросил он. — Или посади меня вместе с ними.

— Нет, — отказался Тимур, — теперь всё кончено. Ни им с тобою, ни тебе с ними больше делать нечего.

Под свист, шум и улюлюканье, спрятав голову в плечи, Квакин медленно пошёл прочь. Отойдя десяток шагов, он остановился и выпрямился.

— Бить буду! — злобно закричал он, оборачиваясь к Тимуру. — Бить буду тебя одного. Один на один, до смерти! — И, отпрыгнув, он скрылся в темноте.

— Ладыгин и твоя пятёрка, вы свободны, — сказал Тимур. — У тебя что?

— Дом номер двадцать два — перекатать брёвна по Большой Васильковской.

— Хорошо! Работайте!

Рядом на станции заревел гудок. Прибыл дачный поезд. С него сходили пассажиры, и Тимур заторопился.

— Симаков и твоя пятёрка, у тебя что?

— Дом номер тридцать восемь по Малой Петраковской. — Он рассмеялся и добавил: — Наше дело, как всегда: вёдра, кадка да вода... Гоп! Гоп! До свиданья!

— Хорошо, работайте! Ну, а теперь... сюда идут люди. Остальные все по домам... Разом!

...Гром и стук раздался на площади. Шарахнулись и остановились идущие с поезда прохожие. Стук и вой повторился. Загорелись огни в окнах соседних дач. Кто-то включил свет над ларьком, и столпившиеся люди увидели над палаткой такой плакат:

***ПРОХОЖИЕ, НЕ ЖАЛЕЙ!***

Здесь сидят люди, которые  
трусливо по ночам обирают  
сады мирных жителей.  
Ключ от замка висит позади  
этого плаката, и тот, кто  
отопрет этих арестантов,  
пусть сначала посмотрит, нет  
ли среди них его близких или  
знакомых.

Поздняя ночь. И чёрно-красной звезды на воротах не видно. Но она тут.

Сад того дома, где живёт маленькая девочка. С ветвистого дерева спустились верёвки. Вслед за ними по шершавому стволу соскользнул мальчик. Он кладёт доску, садится и пробует, прочны ли они, эти новые качели. Толстый сук чуть поскрипывает, листва шуршит и вздрагивает. Вспорхнула и пискнула потревоженная птица. Уже поздно. Спит давно Ольга, спит Женя. Спят и его товарищи: весёлый Симаков, мол-

чаливый Ладыгин, смешной Коля. Ворочается, конечно, и бормочет во сне храбрый Гейка.

Часы на каланче отбивают четверти: «Был день — было дело! Дин-дон... раз, два!..»

Да, уже поздно.

Мальчуган встаёт, шарит по траве руками и поднимает тяжёлый букет полевых цветов.

Эти цветы рвала Женя.

Осторожно, чтобы не разбудить и не испугать спящих, он всходит на озарённое луною крыльцо и бережно кладёт букет на верхнюю ступеньку. Это — Тимур.

Было утро выходного дня. В честь годовщины победы красных под Хасаном комсомольцы посёлка устроили в парке большой карнавал — концерт и гулянье.

Девчонки убежали в рощу ещё спозаранку. Ольга торопливо доканчивала гладить блузку. Перебирая платья, она тряхнула Женин сарафан, и из его кармана выпала бумажка.

Ольга подняла и прочла:

«Девочка, никого дома не бойся. Всё в порядке, и никто от меня ничего не узнает. Тимур».

«Чего не узнает? Почему не бойся? Что за тайны у этой скрытной и лукавой девчонки? Нет! Этому надо положить конец. Папа уезжал, и он велел... Надо действовать решительно и быстро».

В окно постучал Георгий.

— Оля, — сказал он, — выручайте! Ко мне пришла делегация. Просят что-нибудь спеть с эстрады. Сегодня такой день — отказать было нельзя. Давайте аккомпанируйте мне на аккордеоне.

— Да... Но это вам может сделать пианистка! — удивилась Ольга. — Зачем же на аккордеоне?

— Оля, я с пианисткой не хочу. Хочу с вами! У нас получится хорошо. Можно, я к вам через окно прыгну? Оставьте уют и выньте инструмент. Ну вот, я его вам сам вынул. Вам только остаётся нажимать на лады пальцами, а я петь буду.

— Послушайте, Георгий, — обиженно сказала Ольга, — в конце концов, вы могли не лезть в окно, когда есть двери...

В парке было шумно. Вереницей подъезжали машины с отдыхающими. Тащились грузовики с бутербродами, булками, бутылками, колбасой, конфетами, пряниками. Стройно подходили голубые отряды ручных и колёсных мороженщиков.

На полянах разногласо вопили патефоны, вокруг которых раскинулись приезжие и местные дачники с питьём и снедью.

Играла музыка.

У ворот ограды эстрадного театра стоял дежурный старичок и бранил монтера, который хотел пройти через калитку вместе со своими ключами, ремнями и железными «кошками».

— С инструментами, дорогой, сюда не пропускаем. Сегодня праздник. Ты сначала сходи домой, умойся и оденься.

— Так ведь, папаша, здесь же без билета, бесплатно!

— Всё равно нельзя. Здесь пенне. Ты бы ещё с собой телеграфный столб приволок. И ты, гражданин, обойди тоже, — остановил он другого человека. — Здесь люди поют... музыка. А у тебя бутылка торчит из кармана.

— Но, дорогой папаша, — заикаясь, пытался возразить человек, — мне нужно... Я сам тенор.

— Проходи, проходи, тенор, — показывая на монтера, отвечал старик. — Вон бас не возражает. И ты, тенор, не возражай тоже.

Женя, которой мальчишки сказали, что Ольга с аккордеоном прошла за сцену, нетерпеливо ёрзала по скамье.

Наконец вышли Георгий и Ольга. Жене стало страшно: ей показалось, что над Ольгой сейчас начнут смеяться. Но никто не смеялся.

Георгий и Ольга стояли на подмостках, такие простые, молодые и весёлые, что Жене захотелось обнять их обоих.

Но вот Ольга накинула ремень на плечо.

Глубокая морщина перерезала лоб Георгия, он сутулился, наклонил голову. Теперь это был старик, и низким звучным голосом он запел:

...Я третью ночь не сплю. Мне чудится все то же  
Движенья тайное в угрюмой тишине...



Винтовка руку жжёт. Тревога сердце гложет,  
Как двадцать лет назад ночами на войне,  
Но если и сейчас я встречаюсь с тобою,  
Наёмных армий вражеский солдат,  
То я, седой старик, готовый встану к бою,  
Спокоен и суров, как двадцать лет назад.

— Ах, как хорошо! И как этого хромого смелого старика жалко! Молодец, молодец... — бормотала Женя. Так, так. Играй, Оля! Жаль только, что не слышит тебя наш папа.

После концерта, дружно взявшись за руки, Георгий и Ольга шли по аллее.

— Всё так, — говорила Ольга. — Но я не знаю, куда пропала Женя.

— Она стояла на скамье, — ответил Георгий, — и кричала: «Браво, браво!» Потом к ней подошёл... — тут Георгий запнулся, — какой-то мальчик, и они исчезли.

— Какой мальчик? — встревожилась Ольга. — Георгий, вы старше, скажите, что мне с ней делать? Смотрите! Утром я у неё нашла вот эту бумажку!

Георгий прочёл записку. Теперь он и сам задумался и нахмурился.

— Не бойся — это значит не слушайся. Ох, и попадись мне этот мальчишка под руку, то-то бы я с ним поговорила!

Ольга спрятала записку. Некоторое время они молчали. Но музыка играла очень весело, кругом смеялись, и, опять взявшись за руки, они пошли по аллее.

Вдруг на перекрёстке в упор они столкнулись с другой парой, которая, так же дружно держась за руки, шла им навстречу. Это были Тимур и Женя.

Растерявшись, обе пары вежливо на ходу раскланялись.

— Вот он! — дёргая Георгия за руку, с отчаянием сказала Ольга. — Это и есть тот самый мальчишка.

— Да, — смутился Георгий, — а главное, что это и есть Тимур — мой отчаянный племянник.

— И ты... вы знали! — рассердилась Ольга. — И вы мне ничего не говорили!

Откинув его руку, она побежала по аллее. Но ни Тимура, ни Жени уже видно не было.

Она свернула на узкую, кривую тропку и только тут она наткнулась на Тимура, который стоял перед Фигурой и Квакиным.

— Послушай, — подходя к нему вплотную, сказала Ольга. — Мало вам того, что вы облазили и обломали все сады, даже у старух, даже у осиротевшей девчурки; мало тебе того, что от вас бегут даже собаки, — ты портишь и настраиваешь против меня сестрёнку. У тебя на шее пионерский галстук, но ты просто... негодяй!

Тимур был бледен.

— Это неправда, — сказал он. — Вы ничего не знаете.

Ольга махнула рукой и побежала разыскивать Женю.

Тимур стоял и молчал.

Молчали озадаченные Фигура и Квакин.

— Ну что, комиссар? — спросил Квакин. — Вот и тебе, я вижу, бывает невесело?

— Да, атаман, — медленно поднимая глаза, ответил Тимур. — Мне сейчас тяжело, мне невесело. И лучше бы вы меня поймали, исколотили, избили, чем мне из-за вас слушать... вот это.

— Чего же ты молчал? — усмехнулся Квакин. — Ты бы сказал: это, мол, не я. Это они. Мы тут стояли, рядом.

— Да! Ты бы сказал, а мы бы тебе за это напододали, — вставил обрадованный Фигура.

Но совсем не ожидавший такой поддержки Квакин молча и холодно посмогред на своего товарища. А Тимур, трогая рукой стволы деревьев, медленно пошёл прочь.

— Гордый, — тихо сказал Квакин. — Хочет плакать, а молчит.

— Давай-ка сунем ему по разу, вот и заплачет, — сказал Фигура и запустил вдогонку Тимуров еловой шишкой.

— Он... гордый, — хрипло повторил Квакин, — а ты... ты — сволочь! — И, развернувшись, он ляпнул Фигуре кулаком по лбу.

Фигура опешил, потом взвыл и кинулся бежать. Дважды нагоняя его, давал ему Квакин тычка в спину.

Наконец Квакин остановился, поднял оброненную фуражку; отряхивая, ударил её о колено, подошёл к мороженщику, взял порцию, прислонился к дереву и, тяжело дыша, жадно стал глотать мороженое большими кусками.

На поляне возле стрелкового тира Тимур нашёл Гейку и Симу.

— Тимур, — предупредил его Сима, — тебя ищет (он, кажется, очень сердит) твой дядя.

— Да, иди, я знаю.

— Ты сюда вернёшься?

— Не знаю.

— Тима! — неожиданно мягко сказал Гейка и взял товарища за руку.— Что это? Ведь мы же ничего плохого никому не сделали. А ты знаешь, если человек прав...

— Да, знаю... то он не боится ничего на свете. Но ему всё равно больно.

Тимур ушёл.

К Ольге, которая несла домой аккордеон, подошла Женя.

— Оля!

— Уйди! — не глядя на сестру, ответила Ольга. — Я с тобой больше не разговариваю. Я сейчас уезжаю в Москву, и ты без меня можешь гулять с кем хочешь, хоть до рассвета.

— Но, Оля...

— Я с тобой не разговариваю. Послезавтра мы переедем в Москву. А там подождём папу.

— Да! Папа, а не ты — он всё узнает! — в гневе и слезах крикнула Женя и помчалась разыскивать Тимура.

Она разыскала Гейку, Симакова и спросила, где Тимур.

— Его позвали домой, — сказал Гейка. — На него за что-то из-за тебя очень сердит дядя.

В бешенстве топнула Женя ногой и, сжимая кулаки, вскричала:

— Вот так... ни за что... и пропадают люди!

Она обняла ствол берёзы, но тут к ней подскочили Таня и Нюрка.

— Женька! — закричала Таня. — Что с тобой? Женя, бежим! Там пришёл баянист, там начались танцы — пляшут девчонки.

Они схватили её, затормошили и подтащили к кругу, внутри которого мелькали яркие, как цветы, платья, блузки и сарафаны.

— Женя, плакать не надо! — так же, как всегда, быстро и сквозь зубы сказала Нюрка. — Меня когда бабка колотит, и то я не плачу! Девочки, давайте лучше в круг!.. Прыгнули!

— «Пр-прыгнули!» — передразнила Нюрку Женя.

И, прорвавшись через цепь, они закружились, завертелись в отчаянно весёлом танце.

Когда Тимур вернулся домой, его подозвал дядя.

— Мне надоели твои ночные похождения, — говорил Георгий. — Надоели сигналы, звонки, верёвки. Что это была за странная история с одеялом?

— Это была ошибка.

— Хороша ошибка! К этой девочке ты больше не лезь: тебя её сестра не любит.

— За что?

— Не знаю. Значит, заслужил. Что это у тебя за записки? Что это за странные встречи в саду на рассвете? Ольга говорит, что ты учишь девочку хулиганству.

— Она лжёт, — возмутился Тимур, — а ещё комсомолка! Если ей что непонятно, она могла бы позвать меня, спросить. И я бы ей на всё ответил.

— Хорошо. Но пока ты ей ещё ничего не ответил, я запрещаю тебе подходить к их даче, и вообще, если ты будешь самовольничать, то я тебя сейчас же отправлю домой к матери.

Он хотел уходить.

— Дядя, — остановил его Тимур, — а когда вы были мальчишкой, что вы делали? как играли?

— Мы?.. Мы бегали, скакали, лазили по крышам, бывало, что и дрались. Но наши игры были просты и всем понятны.

Чтобы проучить Женю, к вечеру, так и не сказав сестрёнке ни слова, Ольга уехала в Москву.

В Москве никакого дела у неё не было. И поэтому, не заезжая к себе, она отправилась к подруге, просидела у неё дотемна и только часам к десяти пришла на свою квартиру. Она открыла дверь, зажгла свет и тут же вздрогнула: к двери в квартиру была пришпилена телеграмма. Ольга сорвала телеграмму и прочла её. Телеграмма была от папы.

К вечеру, когда уже разъезжались из парка грузовики, Женя и Таня забежали на дачу. Затевалась игра в волейбол, и Женя должна была сменить туфли на тапки.

Она завязывала шнурок, когда в комнату вошла женщина — мать белокурой девчурки. Девочка лежала у неё на руках и дремала.

Узнав, что Ольги нет дома, женщина опечалилась.

— Я хотела оставить у вас дочку, — сказала она. — Я не знала, что нет сестры... Поезд приходит сегодня ночью, и мне надо в Москву — встретить маму.

— Оставьте её, — сказала Женя. — Что же Ольга... А я не человек, что ли? Кладите её на мою кровать, а я на другой лягу.

— Она спит спокойно и теперь проснётся только утром, — обрадовалась мать. — К ней только изредка нужно подходить и поправлять под её головой подушку.

Девчурку раздели и уложили. Мать ушла. Женя отдернула занавеску, чтобы видна была через окно кроватка, захлопнула дверь террасы, и они с Таней убежали играть в волейбол, условившись после каждой игры прибегать по очереди и смотреть, как спит девочка.

Только что они убежали, как на крыльцо вошёл почтальон. Он стучал долго, и так как ему не откликались, то он вернулся к калитке и спросил у соседа, не уехали ли хозяева в город.

— Нет, — отвечал сосед, — девчонку я сейчас тут видел. Давай я приму телеграмму.

Сосед расписался, сунул телеграмму в карман, сел на скамью и закурил трубку. Он ожидал Женю долго.

Прошло часа полтора. Опять к соседу подошёл почтальон.

— Вот, — сказал он. — И что за пожар, спешка? Прими, друг, и вторую телеграмму.

Сосед расписался. Было уже совсем темно. Он прошёл через калитку, поднялся по ступенькам террасы и заглянул в окно. Маленькая девочка спала. Возле её головы на подушке лежал рыжий котёнок. Значит, хозяева были где-то около дома.

Сосед открыл форточку и опустил через неё обе телеграммы. Они аккуратно легли на подоконник, и вернувшаяся Женя должна была бы заметить их сразу.

Но Женя их не заметила. Придя домой, при свете луны она поправила сползшую с подушки девчурку, турнула котёнка, разделась и легла спать.

Она лежала долго, раздумывая о том: вот она какая бывает, жизнь! И она не виновата, и Ольга как будто бы тоже. А вот впервые они с Ольгой всерьёз поссорились.

Было очень обидно. Спать не спалось, и Жене захотелось булки с вареньем. Она спрыгнула, подошла к шкафу, включила свет и тут увидела на подоконнике телеграммы. Ей стало страшно. Дрожащими руками она оборвала заклею и прочла.

В первой было:

«Буду сегодня проездом от двенадцати ночи до трёх утра тчк Ждите на городской квартире папа».

Во второй:

«Приезжай немедленно ночью папа будет в городе Ольга».

С ужасом глянула на часы. Было без четверти двенадцать. Накинув платье и схватив сонного ребёнка, Женя, как полоумная, бросилась к крыльцу. Одумалась. Положила ребёнка на кровать. Выскочила на улицу и помчалась к дому старухи молочницы. Она грохала в дверь кулаком и ногой до тех пор, пока не показалась в окне голова соседки.

— Чего стучишь? — сонным голосом спросила она. — Чего озоруюсь?

— Я не озорую, — умоляюще заговорила Женя. — Мне нужно молочницу, тётю Машу. Я хотела ей оставить ребёнка.

— И что городишь? — захлопывая окно, ответила соседка. — Хозяйка ещё с утра уехала в деревню гостить к брату.

Со стороны вокзала донёлся гудок приближающегося поезда. Женя выбежала на улицу и столкнулась с седым джентльменом, доктором.

— Простите! — пробормотала она. — Вы не знаете, какой это гудит поезд?

Джентльмен вынул часы.

— Двадцать три пятьдесят пять, — ответил он. — Это сегодня на Москву последний.

— Как последний? — глотая слёзы, прошептала Женя. — А когда следующий?

— Следующий пойдёт утром, в три сорок. Девочка, что с тобой? — хватая за плечо покачнувшуюся Женю, участливо спросил старик. — Ты плачешь? Может быть, я тебе чем-нибудь смогу помочь?

— Ах, нет — сдерживая рыдания и убегая, ответила Женя. — Теперь уже мне не может помочь никто на свете!

Дома она уткнулась головой в подушку, но тотчас же вскочила и гневно посмотрела на спящую девчурку. Опомнилась, одёрнула одеяло, столкнула с подушки рыжего котёнка.

Она зажгла свет на террасе, в кухне, в комнате, села на диван и покачала головой. Так сидела она долго и, кажется, ни о чём не думала. Нечаянно она задела валявшийся тут же аккордеон. Машинально подняла его и стала перебирать клавиши. Зазвучала мелодия, торжественная и печальная. Женя грубо оборвала игру и подошла к окну. Плечи её вздрагивали.

Нет! Остаться одной и терпеть такую муку сил у неё больше нет. Она зажгла свечку и, спотыкаясь, через сад пошла к сараю.

Вот и чердак. Веревка, карта, мешки, флаги. Она зажгла фонарь, подошла к штурвальному колесу, нашла нужный ей провод, зацепила его за крюк и резко повернула колесо.

...Тимур спал, когда Рита тронула его за плечо ладью. Толчка он не почувствовал. И, схватив зубами одеяло, Рита стащила его на пол.

Тимур вскочил.

— Ты что? — спросил он, не понимая. — Что-нибудь случилось?

Собака смотрела ему в глаза, шевелила хвостом, мотала мордой. Тут Тимур услышал звон бронзового колокольчика.

Недоумевая, кому он мог понадобиться глухой ночью, он вышел на террасу и взял трубку телефона.

— Да, я, Тимур, у аппарата. Это кто? Это ты... Ты, Женя?

Сначала Тимур слушал спокойно. Но вот губы его зашевелились, по лицу пошли красноватые пятна. Он задыхался часто и отрывисто.

— И только на три часа? — волнуясь, спросил он. — Женя, ты плачешь! Я слышу... Ты плачешь. Не смей! Не надо! Я приду скоро...

Он повесил трубку и схватил с полки расписание поездов.

— Да, вот он, последний, в двадцать три пятьдесят пять. Следующий пойдёт только в три сорок. — Он стоит и кусает губы. — Поздно! Неужели ничего нельзя сделать? Нет! Поздно!

Но красная звезда днём и ночью горит над воротами Жениного дома. Он зажжёт её сам, своей рукой, и её лучи, прямые, острые, блестят и мерцают перед его глазами.

Дочь командира в беде! Дочь командира нечаянно попала в засаду.

Он быстро оделся, выскочил на улицу, и через несколько минут он уже стоял перед крыльцом дачи седого джентльмена. В кабинете доктора ещё горел свет.

Тимур постучался. Ему открыли.

— Ты к кому? — сухо и удивлённо спросил его джентльмен.

— К вам, — ответил Тимур.

— Ко мне? — Джентльмен подумал, потом широким жестом распахнул дверь и сказал: — Тогда... прошу пожаловать!..

Они говорили недолго.

— Вот и всё, что мы делаем, — поблёскивая глазами, закончил свой рассказ Тимур. — Вот и всё, что мы делаем, как играем, и вот зачем мне нужен сейчас ваш Коля.

Молча старик встал. Резким движением он взял Тимура за подбородок, поднял его голову, заглянул ему в глаза и вышел.



Он, прошёл в комнату, где спал Коля, и подёргал его за плечо.

— Вставай, — сказал он, — тебя зовут.

— Но я ничего не знаю, — испуганно тараща глаза, заговорил Коля. — Я, дедушка, право, ничего не знаю.

— Вставай, — сухо повторил ему джентльмен. — За тобой пришёл твой товарищ.

На чердаке на охапке соломы, охватив колени руками, сидела Женя. Она ждала Тимура. Но вместо него в отверстие окна просунулась взъерошенная голова Коли Колокольчикова.

— Это ты? — удивилась Женя. — Что тебе надо?

— Я не знаю, — тихо и испуганно отвечал Коля. — Я спал. Он пришёл. Я встал. Он послал. Он велел, чтобы мы с тобой спустились вниз, к калитке.

— Зачем?

— Я не знаю. У меня самого в голове какой-то стук, гудение. Я, Женя, и сам ничего не понимаю.

Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал в Москве. Тимур зажёл фонарь, взял топор, крикнул собаку Риту и вышел в сад. Он остановился перед закрытой дверью сарая. Он перевёл взгляд с топора на замок. Да! Он знал — так делать было нельзя, но другого выхода не было. Сильным ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл из сарая.

— Рита! — горько сказал он, становясь на колени и целуя собаку в морду. — Ты не сердись! Я не мог поступить иначе.

Женя и Коля стояли у калитки. Издалека показались быстро приближающийся огонь. Огонь летел прямо на них, послышался треск мотора. Слеплённые, они зажмурились, попятились к забору, как вдруг огонь погас, мотор заглох и перед ними очутился Тимур.

— Коля, — сказал он, не здороваясь и ничего не спрашивая, — ты останешься здесь и будешь охранять спящую девчонку. Ты отвечаешь за неё перед всей нашей командой. Женя, садись. Вперёд! В Москву!

Женя вскрикнула, что было у неё силы обняла Тимура и поцеловала.

— Садись, Женя, садись! — стараясь казаться су-

ровым, кричал Тимур. — Держись крепче! Ну, вперёд! Вперёд, двигаем!

Мотор затрещал, гудок рявкнул, и вскоре красный огонёк скрылся из глаз растерявшегося Коли. Он постоял, поднял палку и, держа её наперевес, как ружье, обошёл вокруг ярко освещённой дачи.

— Да, — важно шагая, бормотал он. — Эх, и тяжела ты, солдатская служба! Нет тебе покоя днём, нет и ночью!

Время подходило к трем ночи. Полковник Александров сидел у стола, на котором стоял остывший чайник и лежали обрезки колбасы, сыра и булки.

— Через полчаса я уеду, — сказал он Ольге. — Жаль, что так и не пришлось мне повидать Женьку. Оля, ты плачешь?

— Я не знаю, почему она не приехала. Мне её так жалко, она тебя так ждала! Теперь она совсем сойдёт с ума. А она и так сумасшедшая.

— Оля, — вставая, сказал отец, — я не знаю, я не верю, чтобы Женька могла попасть в плохую компанию, чтобы её испортили, чтобы ею командовали. Нет! Не такой у неё характер.

— Ну вот! — огорчилась Ольга. — Ты ей только об этом скажи. Она и так заладила, что характер у неё такой же, как у тебя. А чего там такой! Она залезла на крышу, спустила через трубу верёвку. Я хочу взять утюг, а он прыгает кверху. Папа, когда ты уезжал, у неё было четыре платья. Два — уже тряпки. Из третьего она выросла, одно я ей носить пока не даю. А три новых я ей сама сшила. Но всё на ней так и горит. Вечно она в синяках, в царапинах. А она, конечно, подойдёт, губы бантиком сложит, глаза голубые вытаращит. Ну, конечно, все думают — цветок, а не девочка. А пойдика. Ого! Цветок! Тронешь и обожжёшься. Папа, ты не выдумывай, что у неё такой же, как у тебя, характер. Ей только об этом скажи! Она три дня на трубе плясать будет.

— Ладно, — обнимая Ольгу, согласился отец. — Я ей скажу. Я ей напишу. Ну и ты, Оля, не жми на неё очень. Ты скажи ей, что я её люблю и помню, что

мы вернёмся скоро и что ей обо мне нельзя плакать, потому что она дочь командира.

— Всё равно будет, — прижимаясь к отцу, сказала Ольга. — И я дочь командира. И я буду тоже.

Отец посмотрел на часы, подошёл к зеркалу, надел ремень и стал одёргивать гимнастёрку. Вдруг наружная дверь хлопнула. Раздвинулась портьера. И, как-то угловато сдвинув плечи, точно приготовившись к прыжку, появилась Женя.

Но вместо того, чтобы вскрикнуть, подбежать, прыгнуть, она бесшумно, быстро подошла и молча спрятала лицо на груди отца. Лоб её был забрызган грязью, помятое платье в пятнах. И Ольга в страхе спросила:

— Женя, ты откуда? Как ты сюда попала?

Не поворачивая головы, Женя отмахнулась кистью руки, и это означало: «Погоди!.. Отстань!.. Не спрашивай!..»

Отец взял Женю на руки, сел на диван, посадил её к себе на колени. Он заглянул ей в лицо и вытер ладонью её запачканный лоб.

— Да, хорошо! Ты молодец человек, Женя!

— Но ты вся в грязи, лицо чёрное! Как ты сюда попала? — опять спросила Ольга.

Женя показала ей на портьеру, и Ольга увидела Тимура.

Он снимал кожаные автомобильные краги. Висок его был измазан желтым маслом. У него было влажное усталое лицо честно выполнившего свое дело рабочего человека. Здраваясь со всеми, он наклонил голову.

— Папа! — вскакивая с колен отца и подбегая к Тимуру, сказала Женя. — Ты никому не верь! Они ничего не знают. Это Тимур — мой очень хороший товарищ.

Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку. Быстрая и торжествующая улыбка скользнула по лицу Жени — одно мгновение испытующе глядела она на Ольгу. И та, растерявшаяся, всё ещё недоумевающая, подошла к Тимуру:

— Ну... тогда здравствуй...

Вскоре часы пробили три.

— Папа, — испугалась Женя, — ты уже встаёшь? Наши часы спешат.

— Нет, Женя, это точно.

— Папа, и твои часы спешат тоже. — Она подбежала к телефону, набрала «время», и из трубки донёлся ровный металлический голос:

— Три часа четыре минуты!

Женя взглянула на стену и со вздохом сказала:

— Наши спешат, но только на одну минуту. Папа, возьми нас с собой на вокзал, мы тебя проводим до поезда!

— Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда.

— Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?

— Есть.

— В мягком?

— В мягком.

— Ох, как и я хотела бы с тобой поехать далеко-далеко в мягком!..

И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на подмосковную товарную, пожалуй, на Сортировочную Пути, стрелки, составы, вагоны. Людей не видно. На линии стоит бронепоезд. Приоткрылось железное окно, мелькнуло и скрылось озарённое пламенем лицо машиниста. На платформе в кожаном пальто стоит отец Жени — полковник Александров. Подходит лейтенант, козыряет и спрашивает:

— Товарищ командир, разрешите отправляться?

— Да! — Полковник смотрит на часы: три часа пятьдесят три минуты. — Приказано отправляться в три часа пятьдесят три минуты.

Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает, но в тучах небо. Он берётся за влажные поручни. Перед ним открывается тяжёлая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, он сам себя спрашивает:

— В мягком?

— Да! В мягком...

Тяжёлая стальная дверь с грохотом захлопывается за ним. Ровно, без толчков, без лязга вся эта ороневая громада грохается и плавно набирает скорость. Проходит паровоз. Плывут орудийные башни. Москва остаётся позади. Туман. Звёзды гаснут. Светает.

Утром, не найдя дома ни Тимура, ни мотоцикла, вернувшийся с работы Георгий тут же решил отправить Тимура домой к матери. Он сел писать письмо, но через окно увидел идущего по дорожке красноармейца

Красноармеец вынул пакет и спросил:

— Товарищ Гараев?

— Да.

— Георгий Алексеевич?

— Да.

— Примите пакет и распишитесь.

Красноармеец ушёл.

Георгий посмотрел на пакет и понимающе свистнул. Да! Вот и оно, то самое, чего он уже давно ждал.

Он вскрыл пакет, прочёл и скомкал начатое письмо. Теперь надо было не отсылать Тимура, а вызывать его мать телеграммой сюда, на дачу.

В комнату вошёл Тимур — и разгневанный Георгий стукнул кулаком по столу. Но следом за Тимуром вошли Ольга и Женя.

— Тише! — сказала Ольга. — Ни кричать, ни стучать не надо. Тимур не виноват. Виноваты вы, да и я тоже.

— Да, — подхватила Женя, — вы на него не кричите. Оля, ты до стола не дотрагивайся. Вон этот револьвер у них очень громко стреляет.

Георгий посмотрел на Женю, потом на револьвер, на отбитую ручку глиняной пепельницы. Он что-то начинает понимать, он догадывается и спрашивает:

— Так это тогда ночью здесь была ты, Женя?

— Да, это была я. Оля, расскажи человеку всё толком, а мы возьмём керосин, тряпку и пойдём чистить машину.

На следующий день, когда Ольга сидела на террасе, через калитку прошёл командир. Он шагал твёрдо, уверенно, как будто бы шёл к себе домой, и удивлённая Ольга поднялась ему навстречу. Перед ней в форме капитана танковых войск стоял Георгий.

— Это что же? — тихо спросила Ольга. — Это опять.. новая роль оперы?

— Нет, — отвечал Георгий. — Я на минуту зашёл проститься. Это не новая роль, а просто новая форма.

— Это, — показывая на петлицы и чуть покраснев, спросила Ольга, — то самое?.. «Мы бьём через железо и бетон прямо в сердце»?

— Да, то самое. Спойте мне и сыграйте, Оля, что-нибудь на дальнюю путь-дорогу.

Он сел. Ольга взяла аккордеон:

...Лётчики-пилоты! Бомбы-пулемёты!  
Вот и улетели в дальний путь.  
Вы когда вернётесь?  
Я не знаю, скоро ли,  
Только возвращайтесь... хоть когда-нибудь.  
Гей! Да где б вы ни были,  
На земле, на небе ли,  
Над чужими ль странами —  
Два крыла,  
Крылья красновзвёздные,  
Милые и грозные,  
Жду я вас по-прежнему  
Как ждала.

— Вот, — сказала она. — Но это всё про лётчиков, а о танкистах я такой хорошей песни не знаю.

— Ничего, — попросил Георгий. — А вы найдите мне и без песни хорошее слово.

Ольга задумалась и, отыскивая нужное хорошее слово, она притихла, внимательно поглядывая на его серые и уже не смеющиеся глаза.

Женя, Тимур и Таня были в саду.

— Слушайте, — предложила Женя, — Георгий сейчас уезжает. Давайте соберём ему на провода всю

команду. Давайте грохнем по форме номер один позывной сигнал общий. То-то будет переполоху!

— Не надо, — отказался Тимур.

— Почему?

— Не надо! Мы других так никого не провожали.

— Ну не надо так не надо, — согласилась Женя. — Вы тут посидите, я пойду воды напиться.

Она ушла, а Таня рассмеялась.

— Ты чего? — не понял Тимур.

Таня рассмеялась ещё громче.

— Ну и молодец, ну и хитра у нас Женька! «Я пойду воды напиться»!

— Внимание! — раздался с чердака звонкий, торжествующий голос Жени. — Подаю по форме номер один позывной сигнал общий.

— Сумасшедшая! — подскочил Тимур. — Да сейчас сюда примчится сто человек! Что ты делаешь?

Но уже закрутилось, заскрипело тяжёлое колесо, вздрогнули, задергались провода: «Три — стоп», «три — стоп», остановка! И загремели под крышами сараев, в чуланах, в курятниках сигнальные звонки, трещотки, бутылки, жестянки. Сто не сто, а не меньше пятидесяти ребят быстро мчались на зов знакомого сигнала.

— Оля, — ворвалась Женя на террасу, — мы пойдём провожать тоже! Нас много. Выгляни в окошко.

— Эге, — отдёргивая занавеску, удивился Георгий. — Да у вас команда большая. Её можно погрузить в эшелон и отправить на фронт.

— Нельзя! — вздохнула, повторяя слова Тимура, Женя. — Крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее. А жаль! Я бы и то куда-нибудь там... в бой, в атаку. Пулемёты на линию огня!.. Пер-р-вая!

— Пер-р-вая... ты на свете хвастунишка и атаман! — передразнила её Ольга, и, перекидывая через плечо ремень аккордеона, она сказала: — Ну что ж, если провожать, так провожать с музыкой.

Они вышли на улицу. Ольга играла на аккордеоне. Потом ударили склянки, жестянки, бутылки, палки — это вырвался вперёд самодельный оркестр, и грянула песня.

Они шли по зелёным улицам, обрастая всё новыми и новыми провожающими.

Сначала посторонние люди не понимали: почему шум, гром, визг? О чём и к чему песня? Но, разобравшись, они улыбались и кто про себя, а кто вслух желали Георгию счастливого пути.

Когда они подходили к платформе, мимо станции, не останавливаясь, проходил военный эшелон.

В первых вагонах были красноармейцы. Им замахали руками, закричали. Потом пошли открытые платформы с повозками, над которыми торчал целый лес зелёных оглобель. Потом — вагоны с конями. Кони мотали мордами, жевали сено. И им тоже закричали «ура». Наконец промелькнула платформа, на которой лежало что-то большое, угловатое, тщательно укутанное серым брезентом. Тут же, покачиваясь на ходу поезда, стоял часовой.

Эшелон исчез, подошёл поезд. И Тимур попрощался с дядей.

К Георгию подошла Ольга.

— Ну, до свиданья! — сказала она. — И, может быть, надолго?

Он покачал головой и пожал ей руку:

— Не знаю... Как судьба!

Гудок, шум, гром оглушительного оркестра. Поезд ушёл.

Ольга была задумчива. В глазах у Жени большое и ей самой не понятное счастье.

Тимур взволнован, но он крепится.

— Ну вот, — чуть изменившимся голосом сказал он, — теперь я и сам остался один. — И тотчас же, выпрямившись, он добавил: — Впрочем, завтра ко мне приедет мама.

— А я? — закричала Женья. — А они? — Она показала на товарищей. — А это? — И она ткнула пальцем на красную звезду.

— Будь спокоен! — отряхиваясь от раздумья, ска-



зала Тимуру Ольга. — Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же.

Тимур поднял голову.

Ах, и тут, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка!

Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал:

— Я стою... я смотрю. Всем хорошо! Все спокойны. Значит, и я спокоен тоже!

1940 г.



## Р. В. С.

### 1

Раньше сюда иногда забегали ребятишки за тем, чтобы побегать и полазить между осевшими и полуразрушенными сараями. Здесь было хорошо.

Когда-то немцы, захватившие Украину<sup>1</sup>, свозили сюда сено и солому. Но немцев прогнали красные, после красных пришли гайдамаки, гайдамаков прогнали петлюровцы<sup>2</sup>, петлюровцев — ещё кто-то. И осталось лежать сено почерневшими, полусгнившими грудями.

А с тех пор, когда атаман Криволоб, тот самый, у которого жёлто-голубая лента тянулась через всю папаху, расстрелял здесь четырёх москалей и одного украинца, пропала у ребятишек всякая охота лазить

---

<sup>1</sup> В рассказе описываются события, происходившие на Украине в годы гражданской войны (1918—1919).

<sup>2</sup> Гайдамаки и петлюровцы — украинские белогвардейские отряды, с которыми боролась Красная Армия в годы гражданской войны.

и прятаться по заманчивым лабиринтам. И остались стоять чёрные сараи, молчаливые, заброшенные.

Только Димка забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь и спокойно жужжали имели над широко раскинувшимися лопухами.

А убитые?.. Так ведь их давно уже нет! Их свалили в общую яму и забросали землёй. А старый нищий Авдей, тот, которого боятся маленькие ребятишки, смастерил из двух палок крепкий крест и тайком поставил его над могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому.

В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он порылся в соломе и извлёк оттуда две обоймы патронов, шомпол от винтовки и заржавленный австрийский штык без ножен.

Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на землю и, продвигаясь дальше с величайшей осторожностью, высматривал подробно его расположение. По счастливой случайности или ещё почему-то, только сегодня ему везло. Он ухитрялся безнаказанно подбираться почти вплотную к воображаемым вражьи́м постам, и, преследуемый градом выстрелов из ружей, из пулемётов, а иногда даже из батарей, возвращался невредимый в свой стан.

Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врбался в самую гущу репейников и чертополоха, которые геройски умирали, не желая, даже под столь бурным натиском, обращаться в бегство.

Димка ценит мужество и потому забирает остатки в плен. Затем, скомандовав «стройся» и «смирно», он обращается к захваченным с гневной речью:

— Против кого идёте? Против своего брата рабочего и крестьянина?

Или:

— Коммунию захотели? Свободы захотели? Против законной власти...

Это в зависимости от того, командира какой армии

в данном случае изображал он, так как командовал то одной, то другой по очереди.

Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада. «Елки-палки! — подумал он. — Вот теперь мать задася трёпку, а то и поест, пожалуй, не оставит». И, спрятав своё оружие, он стремительно пустился домой, раздумывая на бегу, что бы соврать такое получше.

Но, к величайшему удивлению, нагоняя он не получил и врать ему не пришлось.

Мать почти не обратила на него внимания, несмотря на то, что Димка чуть не столкнулся с ней у крыльца. Бабка звенела ключами, вынимая зачем-то старый шиджак и штаны из чулана.

Братишка Топ старательно копал шепкой ямку в куче глины.

Кто-то тихонько лёрнул сзади Димку за штанину. Обернулся — и увидел печально посматривающего мохнатого Шмеля.

— Ты что, дурак? — ласково спросил он и вдруг заметил, что у собачонки рассечена чем-то губа.

— Мам! Кто это? — гневно спросил Димка.

— Ах, отстань! — досадливо ответила та, отворачиваясь. — Что я, присматривалась, что ли?

Но Димка почувствовал, что она говорит неправду.

— Это дядя сапогом двинул, — пояснил Топ.

— Какой ещё дядя?

— Дядя... серый... он у нас в хате сидит.

Выругавши «серого дядю», Димка отворил дверь. На кровати он увидел здорового детину в солдатской гимнастёрке. Рядом на лавке лежала казённая серая шинель.

— Головень! — удивился Димка. — Ты откуда?

— Оттуда, — последовал короткий ответ.

— Ты за чем Шмеля ударил?

— Какого ещё Шмеля?

— Собаку мою...

— Пусть не гавкает. А то я ей и вовсе башку сверну.

— Чтоб тебе самому кто-нибудь свернул! — с сердцем ответил Димка и шмыгнул за печку, потому что

рука Головня потянулась к валявшемуся тяжёлому сапогу.

Димка никак не мог понять, откуда взялся Головень. Совсем ещё недавно забрали его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтоб служба у них была такая короткая.

За ужином он не вытерпел и спросил:

— Ты в отпуск приехал?

— В отпуск.

— Вот что! Надолго?

— Надолго.

— Ты врёшь, Головень! — убеждённо сказал Димка. — Ни у красных, ни у белых, ни у зелёных<sup>1</sup> надолго сейчас не отпускают, потому что сейчас война. Ты дезертир, наверно.

В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее.

— Зачем ребёнка бьёшь? — вступилась Димкина мать. — Нашёл с кем связываться.

Головень покраснел ещё больше, взмахнул своей круглой головой с оттопыренными ушами (за неё-то он и получил кличку) и ответил грубо:

— Помалкивайте-ка лучше... Питерские пролетарии... Дождётесь, что я вас из дома позыгоню.

После этого мать как-то съёжилась, осела и выругала глотавшего слёзы Димку:

— А ты не суйся, идол, куда не надо, а то ещё и не так попадёт.

После ужина Димка забился в сени, улёгся на грудку соломы за ящиками, укрылся материнной подлёткой и долго лежал, не засыпая. Потом к нему тихонько пробрался Шмель и положил голову на плечо.

— Уедсм, мам, в Питер, к батьке.

— Эх, Димка! Да я бы хоть сейчас... Да разве проедешь теперь? Пропуски разные нужны, а потом и так — кругом вон что делается.

— В Питере, мам, какие?

— Кто их знает! Говорят, что красные. А может, врут. Разве теперь разберёшь?

Димка согласился, что разобрать трудно. Уж на

---

<sup>1</sup> «Зелёные» — контрреволюционные банды, которые в гражданскую войну грабили маленькие города и села Украины.

что близко волостное село, а и то не поймёшь, чьё оно. Говорили, что занял его на днях Козолуп... А что за Козолуп, какой он партии?

И он спросил у задумавшейся матери:

— Мам, а Козолуп зелёный?

— А пропади они все, вместе взятые! — с сердцем ответила та. — Все были люди как люди, а теперь поди-ка...

В сенцах темно. Сквозь распахнутую дверь виднеются густо пересыпанное звёздочками небо и краешек светлого месяца. Димка зарывается глубже в солому, приготавливаясь видеть продолжение интересного, но не досмотренного вчера сна. Засыпая, он чувствует, как приятно греет шею прикорнувший к нему верный Шмель.

\* \* \*

В синем небе края облаков серебрятся от солнца. Широко по полям жёлтыми хлебами играет ветер, и лазурно-покоен летний день. Непокойны только люди. Где-то за тёмным лесом протрещали раскатисто пулемёты. Где-то за краем перекликнулись глухо орудия. И куда-то промчался кавалерийский отряд.

— Мам, с кем это?

— Отстань!

Отстал Димка, побежал к забору, взобрался на одну из жердей и долго смотрел вслед исчезающим всадникам.

Между тем Головень ходил злой. Каждый раз, когда через деревеньку проходил красный отряд, он скрывался где-то. И Димка понял, что Головень дезертир.

Как-то бабка послала Димку отнести Головню на сеновал кусок сала и ломоть хлеба. Подбираясь к укромному логову, он заметил, что Головень, сидя к нему спиной, масгерит что-то.

«Винтовка! — удивился Димка. — Вот так штука! На что она ему?»

Головень тщательно протёр затвор, заткнул ствол тряпкой и запрятал винтовку в сено.

Весь вечер и несколько следующих дней Димку разбирало любопытство посмотреть, что за винтовка: «Русская или немецкая? А может, там и наган есть?»

Как раз в это время утихло всё кругом. Прогнали красные Козолупа и ушли дальше на какой-то фронт. Тихо и безлюдно стало в маленькой деревушке, и Головень начал покидать сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот как-то под вечер, когда лягушиными песнями зазвенел порозовевший пруд, когда гибкие ласточки заскользили по воздуху и бестолково зажужжала мошкара, решил Димка пробраться на сеновал.

Дверца была заперта на замок, но у Димки был свой ход — через курятник. Заскрипела отодвигаемая доска, громко заклохтели потревоженные куры. Испугавшись произведённого шума, Димка быстро юркнул наверх. На сеновале было душно и тихо. Пробрался в угол, где валялась красная подушка в перьях, и, принявшись шарить под крышей, наткнулся на что-то твёрдое. «Приклад!» Прислушался: на дворе — никого. Потянул и вытащил всю винтовку. Нагана не было. Винтовка оказалась русской. Димка долго вертел её, осторожно ощупывая и осматривая. «А что, если открыть затвор?» Сам он никогда не открывал, но часто видел, как это делают солдаты. Потянул тихонько — рукоятка вверх подаётся. Отодвинул на себя до отказа. «Умею!» — горделиво подумал он, но тут же заметил под затвором вынырнувший откуда-то желтоватый патрон. Это его немного озадачило, и он решил закрыть снова. Теперь пошло ту же, и Димка заметил, что жёлтый патрон движется прямо в ствол. Он остановился в нерешительности, отодвинул от себя винтовку.

«И куда лезет, чёрт!»

Однако надо было торопиться. Он закрыл затвор и начал потихоньку толкать ружьё на место. Запиратель почти всё, как вдруг распахнулась дверь и прямо перед Димкой очутилось удивлённое и рассерженное лицо Головня:

— Ты что, собака, здесь делаешь?

— Ничего! — испуганно ответил Димка. — Я спал... — И незаметно двинул ногой в сено приклад винтовки. В тот же момент грохнул глухой, но сильный выстрел. Димка чуть не сшиб Головня с лестницы, бросился сверху прямо на землю и пустился через огороды. Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и, когда вскочил, почувствовал,

как рассвирепевший Головень вцепился ему в рубаху.

«Убьёт! — подумал Димка. — Ни мамки, никого — конец геперь». И, получив сильный тычок в спину, от которого черная полоса поползла по глазам, он упал на землю, приготовившись получить ещё и ещё.

Но... что-то застучало по дороге. Почему-то ослабла рука Головня. И кто-то крикнул гневно и повелительно:

— Не смей!

Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги — целый забор лошадиных ног.

Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только геперь рассмотрел он окружающих его кавалеристов и всадника в чёрном костюме с красной звездой на груди, перед которым растерянно стоял Головень.

— Не смей! — повторил незнакомец и, взглянув на заплаканное лицо Димки, добавил: — Не плачь, мальчуган, и не бойся. Больше он не тронет ни сейчас, ни после. — Кивнул одному головой и с отрядом умчался вперёд.

Отстал один и спросил строго:

— Ты кто такой?

— Здешний, — хмуро ответил Головень.

— Почему не в армии?

— Год не вышел.

— Фамилия?.. На обратном пути проверим. — Ударил шпорами кавалерист, и прыгнула лошадь с места галопом

И остался на дороге недоумевающий и не опомнившийся ещё Димка. Посмотрел назад — нет никого. Посмотрел по сторонам — нет Головня. Посмотрел вперёд и увидел, как чернеет гочками и мчится, исчезая за горизонтом, красный отряд.

## 2

Высохли на глазах слёзы. Утихла понемногу боль. Но идти домой Димка боялся и решил обождать до ночи, когда улягутся все спать. Направился к речке. У берегов под кустами вода была тёмная и спокойная, посередке отсвечивала розоватым блеском и тихонько играла, перекатываясь через мелкое каменистое дно.



На том берегу, возле опушки никольского леса, заблестел тускло огонёк костра. Почему-то он показался Димке очень далёким и заманчиво загадочным. «Кто бы это? — подумал он. — Пастухи разве?.. А может, и бандиты! Ужин варят — картошку с салом или ещё что-нибудь такое...» Ему очень хотелось есть.

В сумерках огонёк разгорался всё ярче и ярче, приветливо мигая издали мальчугану. Но ещё глубже хмурился, темнел в сумерках беспокойный никольский лес.

Спускаясь по тропке, Димка вдруг остановился: за поворотом, у берега, кто-то пел высоким переливающимся альтом, как-то странно, хотя и красиво, разбивая слова:

Та-ваа-рищи, та-ва-рищи, —  
Сказал он им в ответ, —  
Да здрав-ству-ит  
Ра-сия!  
Да здра-вству-ит  
Совет!

«А, чтоб тебе! Вот наяривает!» — с восхищением подумал Димка и бегом пустился вниз.

На берегу он увидел небольшого худенького мальчишку, лежавшего возле затасканной сумки. Заслышав шаги, тот оборвал песню и с опаской посмотрел на Димку:

— Ты чего?

— Ничего... Так!

— А-а! — протянул тот, по-видимому, удовлетворённый ответом. — Драться, значит, не будешь?

— Чего-о?

— Драться, говорю... А го смотри! Я даром что маленький, а так отошью...

Димка вовсе и не собирался драться и спросил в свою очередь:

— Это ты пел?

— Я.

— А ты кто?

— Я Жиган, — горделиво ответил тот. — Жиган из города... Прозвище у меня такое.

С размаху бросившись на землю, Димка заметил, как мальчишка испуганно отодвинулся.

— Барахло ты, а не жиган... Разве такие жиганы бывают?.. А вот песни поёшь здорово.

— Я, брат, всякие знаю. На станциях по эшелонам завсегда пел. Все равно хоть красным, хоть петлюровцам, хоть кому... Ежели товарищам, скажем, тогда «Алеша-ша» — либо про буржуев. Белым — так тут надо другое: «Раньше были денежки, были и бумажки». «Погибла Расея», ну а потом «Яблочко» — его, конечно, на обе стороны петь можно, слова только переставлять надо.

Помолчали.

— А ты зачем сюда пришёл?

— Крёстная у меня тут, бабка Онуфриха. Я думал хоть с месяц отожраться. Куды там! Чтоб, говорит, тебя через неделю, через две здесь не было!

— А потом куда?

— Куда-нибудь. Где лучше.

— А где?

— Где? Кабы знать, тогда что! Найти надо.

— Приходи утром на речку, Жиган. Раков ловить будем!

— Не соврёшь? Обязательно приду! — весьма довольный, ответил тот.

Перескочив плетень, Димка пробрался на тёмный двор и заметил сидевшую на крыльце мать. Он подошёл к ней и, потянувши за платок, сказал серьёзно:

— Ты, мам, не ругайся... Я нарочно долго не шёл, потому Головень меня здорово избил.

— Мало тебе! — ответила она оборачиваясь. — Не так бы надо...

Но Димка слышит в её словах и обиду, и горечь, и сожаление, но только не гнев.

\* \* \*

Пришёл как-то на речку скучный-скучный Димка.

— Убежим, Жиган! — предложил он. — Закатимся куда-нибудь подальше отсюда, право!

— А тебя мать пустит?

— Ты дурак, Жиган! Когда убегают, то ни у кого не спрашивают. Головень злой, дерётся. Из-за меня мамку и Топа гонит.

— Какого Топа?

— Братишку маленького. Топают он чудно, когда ходит, ну вот и прозвали. Да и так надоело всё. Ну что дома?

— Убежим! — оживлённо заговорил Жиган. — Мне что не бежать. Я хоть сейчас. По эшелонам собирать будем.

— Как собирать?

— А так: спую я что-нибудь, а потом скажу: «Всем товарищам нижайшее почтение, чтобы был вам не фронт, а одно развлечение. Получать хлеба по два фунта, табаку по осьмушке, не попадаться на дороге ни пулемёту, ни пушке». Тут, как начнут смеяться, снять шапку в сей же момент и сказать: «Граждане! Будьте добры, оплатите детский труд».

Димка подивился лёгкости и уверенности, с какой Жиган выбрасывал эти фразы, но такой способ существования ему не особенно понравился, и он сказал, что гораздо лучше бы вступить добровольцами в какой-нибудь отряд, организовать собственный или уйти в партизаны. Жиган не возражал, и даже, наоборот, когда Димка благосклонно отозвался о красных, «потому что они за революцию», выяснилось, что Жиган служил уже у красных.

Димка посмотрел на него с удивлением и добавил, что ничего и у зелёных, «потому что гусей они едят много». Дополнительно тут же выяснилось, что Жиган бывал также и у зелёных и регулярно получал свою порцию, по полгуся в день.

План побега разрабатывали долго и тщательно. Предложение Жигана бежать сейчас же, не заходя даже домой, было решительно отвергнуто.

— Перво-наперво хлеба надо хоть для начала захватить, — заявил Димка, — а то как из дома, так и по соседям. А потом спичек...

— Котелок бы хорошо. Картошки в поле нарыл — вот тебе и обед!

Димка вспомнил, что Головень принёс с собой крепкий медный котелок. Бабка начистила его золой и, когда он заблестел, как праздничный самовар, спрятала в чулан.

— Заперто только, а ключ с собой носит.

— Ничего! — заявил Жиган. — Из-под всякого запора при случае можно, повадка только нужна.

Решили теперь же начать запасать провизию. Прятать Димка предложил в солому у сараев.

— Зачем у сараев? — возразил Жиган. — Можно ещё куда-либо.. А то рядом с мёртвыми!

— А тебе что мёртвые? — насмешливо спросил Димка.

В этот же день Димка притащил небольшой ломоть сала, а Жиган — тщательно завёрнутые в бумажку три спички.

— Нельзя помпогу, — пояснил он. — У Онуфрихи всего две коробки, так надо, чтоб незаметно.

И с этой минуты побег был решён окончательно.

\* \* \*

А везде беспокойно бурлила жизнь. Где-то недалеко проходил большой фронт. Ещё ближе — несколько второстепенных, поменьше. А кругом красноармейцы гонялись за бандами, или банды за красноармейцами, или атаманы дрались меж собой. Крепок был атаман Козолуп. У него морщина поперёк упрямого лба залегла изломом, а глаза из-под седоватых бровей поглядывали тяжело. Угрюмый атаман! Хитёр, как чёрт, атаман Лёвка. У него и конь смеётся, оскаливая белые зубы, так же, как и он сам. Но с тех пор, как отбился он из-под начала Козолупа, сначала глухая, а потом и открытая вражда пошла между ними.

Написал Козолуп приказ поселянам: «Не давать Лёвке ни сала для людей, ни сена для коней, ни хат для ночлега».

Засмеялся Лёвка, написал другой.

Прочитали красные оба приказа. Написали третий: «Объявить Лёвку и Козолупа вне закона» — и всё. А много им расписывать было некогда, потому что здорово гнулса у них главный фронт.

И пошло тут что-то такое, чего и не разберёшь. Уж на что дед Захарий! На трёх войнах был. А и то, когда садился на завалинке возле рыжей собачонки, которой пьяный петлюровец шашкой ухо отрубил, говорил:

— Ну и времечко!

Приехали сегодня зелёные, человек двадцать. За-

ходили двое к Головню Гоготали и пили чашками мутный крепкий самогон.

Димка смотрел на них с любопытством.

Когда Головень ушёл, Димка, давно хотевший узнать вкус самогонки, слил остатки из чашки в одну.

— Дим-ка, мне! — плаксиво захныкал Топ.

— Оставляю, оставляю!

Но едва он опрокинул чашку в рот, как, отчаянно отплёвываясь, вылетел на двор.

Возле сараев он застал Жигана.

— А я, брат, штуку знаю.

— Какую?

— У нас за хатой зелёные яму через дорогу роют, а чёрт её знает — зачем. Должно, чтоб никто не ездил.

— Как же можно не ездить? — с сомнением возразил Димка. Тут не так что-то. Не иначе, как что-нибудь затевается.

Пошли осматривать свои запасы. Их было ещё немного: два куска сала, кусок варёного мяса и с десяток спичек.

\* \* \*

В тот вечер солнце огромным красноватым кругом повисло над горизонтом у надеждинских полей и заходило понемногу, не торопясь, точно любуясь широким покоем отдыхающей земли.

Далеко, в Ольховке, приткнувшейся к опушке никольского леса, ударил несколько раз колокол. Но не тревожным набатом, а так просто, мягко-мягко. И когда густые, дрожащие звуки мимо соломенных крыш дошли до ушей старого деда Захария, подивился он немного давно не слыханному спокойному звону и, перекрестившись неторопливо, крепко сел на своё место, возле покривившегося крылечка. А когда сел, го подумал: «Какой же это праздник завтра будет?» И спросил Захарий, постучавши палкой в окошко, у выглянувшей оттуда старухи:

— Горпина, а Горпина, или у нас завтра воскресенье будет?

— Что ты, старый! — недовольно ответила перепачканная в муке Горпина. — Разве же после среды воскресенье бывает?

— Ото ж и я так думаю...

И усомнился дед Захарий, не напрасно ли он крест на себя наложил и не худой ли какой это звон.

Набежал ветерок, чуть колыхнул седую бороду. И увидел дед Захарий, как высунулись любопытные бабы из окошек, выкатились ребятишки из-за ворот, а с поля донёлся какой-то протяжный странный звук, как будто заревел бык либо корова в стаде, только ещё резче и дольше:

— Уо-уу-ууу...

А потом вдруг как хряснуло по воздуху, как забухали подле поскотины выстрелы... Захлопнулись разом окошки, исчезли с улиц ребятишки. И не мог только встать и сдвинуться напуганный старик, пока не закричала на него Горпина:

— Ты тюпайся швидче<sup>1</sup>, старый дурак! Или ты не видишь, что такое начинается?

А в это время у Димки колотилось сердце такими же неровными, как выстрелы, ударами, и хотелось ему выбежать на улицу, узнать, что там такое. Было ему страшно, потому что побледнела мать и сказала не своим, тихим голосом:

— Ляг.. ляг на пол, Димушка. Господи, только бы из орудиев не начали!

У Топа глаза сделались большие-большие, и он застыл на полу, приткнувши голову к ножке стола. Но лежать ему было неудобно, и он сказал плаксиво:

— Мам, я не хочу на полу, я на печку лучше.

— Лежи, лежи! Вот придёт гайдамак... он тебе! — В эту минуту что-то особенно здорово грохнуло так, что зазвенели стёкла окошек и показалось Димке, что дрогнула земля. «Бомбы бросают!» — подумал он и услышал, как мимо потемневших окон с топотом и криками пронеслось несколько человек.

Всё стихло. Прошло ещё с полчаса. Кто-то застучал в сенцах, изругался, наткнувшись на пустое ведро. Распахнулась дверь, и в хату вошёл вооружённый Головень.

Он был чем-то сильно разозлён, потому что, выпив-

---

<sup>1</sup> Тюпайся швидче (по-украински) — шевелись живей.

ши залпом ковш воды, оттолкнул сердито винтовку в угол и сказал с нескрываемой досадой:

— Ах, чтоб ему!..

\* \* \*

Утром встретились ребята рано.

— Жиган, — спросил Димка, — ты не знаешь, отчего вчера... С кем это?

У Жигана юркие глаза блеснули самодовольно. И он ответил важно:

— О, брат! Было у нас вчера дело...

— Ты не ври только! Я ведь видел, как ты сразу тоже за огороды припустился.

— А почём ты знаешь? Может, я кругом! — обиделся Жиган.

Димка сильно усомнился в этом, но перебивать не стал.

— Машина вчера езджала, а ей в Ольховке починка была. Она только оттуда, а Гаврила-дьякон в колокол: бум!.. — сигналил, значит.

— Ну?

— Ну, вот и ну... Подъехала к деревне, а по ней из ружей. Она было назад, глядь — ограда уже заперта.

— И поймали кого?

— Нет... Оттуда такую стрельбу подняли, что и не подступиться. А потом видят — дело плохо, и врассыпную... Тут их и постреляли. А один убёг. Бомбу бросил ря-адышком, у Онуфрихиной хаты все стёкла полопались. По нём из ружей кроют, за ним гонятся, а он через плетень, через огороды, да и утёк.

— А машина?

— Машина и сейчас тут... только негодная, потому что, как убежать, один гранатой запустил. Всю искорёжил... Я уж бегал... Федька Марьин допрежь меня ещё поспел. Гудок стащил. Нажмёшь резину, а она как завоет!

Весь день только и было разговоров, что о вчерашнем происшествии. Зелёные ускакали ещё ночью. И осталась снова без власти маленькая деревушка.

Между тем приготовления к побегу подходили к концу. Оставалось теперь стащить котелок, что и решено было сделать завтра вечером при помощи длинной палки с насаженным гвоздём через маленькое окошко, выходящее в огород.

Жиган пошёл обедать. Димке не сиделось, и он отправился ожидать его к сараям.

Завалился было сразу на солому и начал баловаться, защищаясь от яростно атакующего его Шмеля, но вскоре привстал, немного встревоженный. Ему показалось, что снопы разбросаны как-то не так, не по-обыкновенному. «Неужели из ребят кто-нибудь лазил? Вот черти! И он подошёл, чтобы проверить, не открыл ли кто место, где спрятана провизия. Пошарил рукой — нет, тут! Вытащил сало, спички, хлеб. Полез за мясом — нет!

— Ах, черти! — выругался он. — Это не иначе, как Жиган сожрал. Если бы кто из ребят, так тот уж всё сразу бы.

Вскоре показался и Жиган. Он только что пообедал, а потому был в самом хорошем настроении и подходил, беспечно насвистывая.

— Ты мясо ел? — спросил Димка, уставившись на него сердито.

— Ел! — ответил тот. — Вку-усно..

— Вкусно! — напустился на него разозлённый Димка. — А тебе кто позволил? А где такой уговор был? А на дороге что?.. Вот я тебя тресну по башке, тогда будет вкусно!..

Жиган опешил.

— Так это же я дома за обедом. Онуфриха раздобрилась, кусок из щей вынула, здоро-овый!

— А откуда кто взял?

— И не знаю вовсе.

— Побожись.

— Ей-богу! Вот чтоб мне провалиться сей же секунд, ежели брал.

Но потому ли, что Жиган не провалился «сей же секунд», или потому, что отрицал обвинение с необыкновенной горячностью, только Димка решил, что в виде исключения на этот раз Жиган не врёт. И, глазами



скользнув по соломе, Димка позвал Шмеля, протягивая руку к хворостине:

— Шмель, а ну поди сюда!

Но Шмель не любил, когда с ним так разговаривали. И, бросив теревить жгут, опустив хвост, он сразу же направился в сторону.

— Он сожрал! — с негодованием подтвердил Жиган. — И кусок-то какой жи-рный!

Перепрятали всё повыше, заложили доской и привалили кирпич.

Потом лежали долго, рисуя заманчивые картины будущей жизни.

— В лесу ночевать возле костра... хорошо!

— Темно ночью только, — с сожалением заметил Жиган.

— А что темно? У нас ружья будут, мы и сами...

— Вот если поубивают, — начал опять Жиган и добавил серьёзно: — Я, брат, не люблю, чтоб меня убивали.

— Я тоже, — сознался Димка. — А то что, в яме-то... вон как эти. — И он кивнул головой туда, где покривившийся крест чуть-чуть вырисовывался из-за густых сумерек.

При этом напоминании Жиган съёжился и почувствовал, что в вечернем воздухе стало как бы прохладнее. Но, желая показаться молодцом, он ответил равнодушно:

— Да, брат... А у нас была один раз штука...

И оборвался, потому что Шмель, улётшийся под боком Димки, поднял голову, насторожил уши и заворчал предостерегающе и сердито.

— Ты что? Что ты, Шмелик? — с тревогой спросил его Димка и погладил по голове.

Шмель замолчал и снова положил голову между лап.

— Крысу чует, — шёпотом проговорил Жиган и, притворно зевнув, добавил: — Домой надо идти, Димка.

— Сейчас. А какая у вас была штука?

Но Жигану стало уже не до штуки, и, кроме того, то, что он собирался соврать, вылетело у него из головы.

— Пойдем, — согласился Димка, обрадовавшись, что Жиган не вздумал продолжать рассказ.

Встали. Шмель поднялся тоже, но не пошёл сразу, а остановился возле соломы и снова заворчал тревожно, как будто дразнил его кто из темноты.

— Крыс чует! — повторил теперь Димка.

— Крыс? — упавшим голосом ответил Жиган. — А только почему же это он раньше их не чуял?

И добавил негромко:

— Холодно что-то. Давай побежим, Димка!.. А большевик тот, что убёг, где-либо подле деревни недалеко.

— Откуда ты знаешь?

— Так, думаю! Посылала меня сейчас Онуфриха к Горпине, чтобы взять взаймы полчашки соли. А у неё в тот день рубаха пропала. Я пришёл, слышу из сенец, ругается кто-то: «...И бросил, — говорит, — какой-то рубаху под жерди. Мы ж с Егорихой смотрим: она порвана, и кабы немного, а то вся как есть». А дед Захарий слушал-слушал, да и говорит: «О, Горпина...»

Тут Жиган многозначительно остановился, поглядывая на Димку, и только когда тот нетерпеливо занукал, начал снова:

— А дед Захарий и говорит: «О, Горпина, ты спрячь лучше язык подальше». Тут я вошёл в хату. Гляжу, а на лавке рубашка лежит, порванная и вся в крови. И как увидела меня, села на неё Горпина сей же секунд и велит: «Подай ему, старый, с полчашки», а сама не поднимается. А мне что, я и так видел. Так вот, думаю, это большевика пулей подшибло.

Помолчали, обдумывая неожиданно подслушанную новость. У одного глаза прищурились, уставившись неподвижно и серьёзно. У другого забежали и заблестели. И сказал Димка:

— Вот что, Жиган, молчи лучше и ты. Много и так поубивали красных у нас возле деревни, и все поодиночке.

\* \* \*

На завтра утром был назначен побег. Весь день Димка был сам не свой. Разбил нечаянно чашку, наступил на хвост Шмелю и чуть не вышиб кринку кис-

лого молока из рук входившей бабки, за что и получил здоровенную оплеуху от Головня.

А время шло. Час за часом прошёл полдень, обед, наступил вечер.

Спрятались в огороде, за бузиной, у плетня, и стали выжидать.

Засели они рановато, и долго ещё через двор проходили люди. Наконец пришёл Головень, позвала Топпа мать. И прокричала с крыльца:

— Димка! Диму-ушка! Где ты делся?

«Ужинать!» — решил он, но откликнуться, конечно, и не подумал. Мать постояла-постояла и ушла.

Подождали. Крадучись вышли. Возле стенки чулана остановились. Окошко было высоко. Димка согнулся, упёршись руками в колени. Жиган забрался к нему на спину и осторожно просунулся в окошко.

— Скорей ты! У меня спина не каменная.

— Темно очень, — шёпотом ответил Жиган. С трудом зацепив котелок, он потащил его к себе и прыгнул. — Есть!

— Жиган, — спросил Димка, — а колбасу где ты взял?

— Там висела ря-адышком. Бежим скорей!

Проворно юркнули в сторону, но за плетнём вспомнили, что забыли палку с крюком у стенки. Димка — назад. Схватил и вдруг увидел, что в дыру плетня просунул голову и любопытно смотрит на него Топ.

Димка, с палкой и с колбасой, так растерялся, что опомнился только тогда, когда Топ спросил его:

— Ты зачем койбасу стащил?

— Это не стащил, Топ. Это надо, — поспешно ответил Димка. — Воробушков кормить. Ты любишь, Топ, воробушков? Чирик-чирик!.. Чирик-чирик!.. Ты не говори только. Не скажешь? Я тебе гвоздь завтра дам хоро-оший!

— Воробушков? — серьёзно спросил Топ.

— Да-да! Вот ей-богу!.. У них нет... Бе-едные!

— И гвоздь дашь?

— И гвоздь дам... Ты не скажешь, Топ? А то не дам гвоздя и с Шмелькой играть не дам.

И, получив обещание молчать (но про себя усомнившись в этом сильно), Димка помчался к нетерпеливо ожидавшему Жигану.

Сумерки наступали торопливо, и когда ребята добежали до сараев, чтобы спрятать котелок и злополучную колбасу, было уже темно.

— Прячь скорей!

— Давай! — и Жиган полез в щель, под крышу. — Димка, тут темно, — тревожно прошептал он. — Я не найду ничего...

— А, дурной, врёшь ты, что не найдёшь! Испугался уж!

Полез сам. В потёмках нащупал руку Жигана и почувствовал, что она дрожит.

— Ты чего? — спросил он, ощущая, что страх начинает передаваться и ему.

— Там... — и Жиган крепче ухватился за Димку.

И Димка ясно услышал доносившийся из тёмной глубины сарая тяжёлый, сдвоенный стон.

В следующую же секунду, с криком скатившись вниз, не различая ни дороги, ни ям, ни тропинок, оба в ужасе неслись прочь.

### 3

В эту ночь долго не мог заснуть Димка. Понемногу в голове у него начали складываться кое-какие предположения: «Крысы... Кто съел мясо?.. Рубашка, стон... А что, если?..»

Он долго ворочался и никак не мог отделаться от одной навязчиво повторявшейся мысли.

Утром он был уже у сараев. Отвалил солому и забрался в дыру. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь многочисленные щели, прорезали полутьму пустого сарая. Передние подпорки, там, где должны были быть ворота, обвалились, и крыша осела, наглухо завалив вход. «Где-то тут», — подумал Димка и пополз. Завернул за груды рассыпавшихся необожжённых кирпичей и остановился испугавшись. В углу, на соломе, вниз лицом лежал человек. Заслышав шорох, он чуть поднял голову и протянул руку к валяющемуся нагану. Но потому ли, что изменили ему силы, или ещё почему-либо, только, всмотревшись воспаленными, мутными глазами, разжал он пальцы, опустил револьвер и, приподнявшись, проговорил хрипло, с трудом ворочая языком:

— Пить!

Димка сделал шаг вперёд. Блеснула звёздочка с белым венком, и Димка едва не крикнул от удивления, узнав в раненом незнакомца, когда-то вырвавшего его из рук Головня.

Пропали все страхи, все сомнения, осталось только чувство жалости к человеку, так горячо заступившемуся за него.

Схватив котелок, Димка помчался за водой на речку. Возвращаясь бегом, он едва не столкнулся с Марьиным Федыкой, помогавшим матери тащить мокрое бельё. Димка поспешно шмыгнул в кусты и видел отсюда, как Федыка замедлил шаг, с любопытством поворачивая голову в его сторону. И если бы мать, заметившая, как сразу потяжелела корзина, не крикнула сердито: «Да неси ж, дьяволёнок, чего ты завихлялся?», то Федыка, конечно, не утерпел бы проверить, кто это спрятался столь поспешно в кустах.

Вернувшись, Димка увидел, что незнакомец лежит, закрыв глаза, и шевелит слегка губами, точно разговаривая с кем-то во сне. Димка тронул его за плечо, и когда тот, открыв глаза, увидел перед собой мальчугана, что-то вроде слабой улыбки обозначилось на его пересохших губах. Напившись, уже ясней и внятней незнакомец спросил:

— Красные далеко?

— Далеко. И не слышать вовсе.

— А в городе?

— Петлюровцы, кажись...

Поник головой раненый и спросил у Димки:

— Мальчик, ты никому не скажешь?

И было в этой фразе столько тревоги, что вспыхнул Димка и принялся уверять, что не скажет.

— Жигану разве!

— Это с которм вы бежать собирались?

— Да, — смутившись, ответил Димка. — Вот и он, кажется.

Засвистел соловей раскатистыми трелями. Это Жиган разыскивал и дивился, куда это пропал его товарищ.

Высунувшись из дыры, но не желая кричать, Димка запустил в него легонько камешком.

— Ты чего? — спросил Жиган.

— Тише! Лезь сюда... Надо.

— Так ты позвал бы, а то на-ко... камнем! Ты б ещё кирпичом запустил.

Спустились оба в дыру. Увидев перед собой незнакомца и тёмный револьвер на соломе, Жиган остановился, оробев.

Незнакомец открыл глаза и спросил просто:

— Ну что, мальчуганы?

— Это вот Жиган! — и Димка тихонько подтолкнул его вперёд.

Незнакомец ничего не ответил и только чуть наклонил голову.

Из своих запасов Димка притащил ломоть хлеба и вчерашнюю колбасу.

Раненый был голоден, но сначала ел мало, больше тянул воду.

Жиган и Димка сидели почти всё время молча.

Пуля зелёных ранила человека в ногу; кроме того, три дня у него не было ни глотка воды во рту, и измучился он сильно.

Закусив, он почувствовал себя лучше, глаза его заблестели.

— Мальчуганы! — сказал он уже совсем ясно. И по голосу только теперь Димка ещё раз узнал в нём незнакомца, крикнувшего Головню: «Не сметь!» — Вы славные ребяташки... Я часто слушал, как вы разговаривали... Но если вы проболтаетесь, то меня убьют...

— Не должны бы! — неуверенно вставил Жиган.

— Как не должны бы? — разозлился Димка. — Ты говори: нет, да и всё... Да вы его не слушайте, — чуть ли не со слезами обратился он к незнакомцу. — Ей-богу, не скажем! Вот провалиться мне, всё обещаю... Вздую...

Но Жиган сообразил и сам, что сболтнул он что-то несуразное, и ответил извиняющимся тоном:

— Да я, Дим, и сам... что не должны, значит... ни в коем случае.

И Димка увидел, как незнакомец снова улыбнулся.

\* \* \*

За обедом Топ сидел-сидел, да и выпалил:

— Давай, Димка, гвоздь, а то я мамке скажу, что ты койбасу воробушкам таскал.

Димка едва не подавился куском картошки и громко зашумел табуреткой. К счастью, Головня не было, мать доставала похлёбку из печки, а бабка была туговата на ухо. И Димка проговорил шёпотом, подталкивая Топу ногой:

— Дай пообедая, у меня уже припасён.

«Чтоб тебе неладно было! — подумал он, вставая из-за стола. — Потянуло же за язык».

После некоторых поисков выдернул он в сарае из стены здоровенный гвоздь и отнёс Топу.

— Большой больно, Димка! — сказал Топ, удивлённо поглядывая на толстый и неуклюжий гвоздь.

— Что большой? Вот оно и хорошо, Топ. А чего маленький: заколотишь сразу — и всё. А тут долго сидеть можно: тук, тук!.. Хороший гвоздь!

Вечером Жиган нашёл у Онуфрихи кусок чистого холста для повязки. А Димка, захватив из своих запасов кусок сала побольше, решил раздобыть йоду.

\* \* \*

Отец Перламутрий, в одном подряснике и без сапог лежал на кушетке и с огорчением думал о пришедших в упадок делах из-за церкви, сгоревшей от снаряда ещё в прошлом году. Но, полежав немного, он вспомнил о скором приближении храмового праздника и неотделимых от него благодеяниях. И образы поросятины, кружков масла и стройных сметанных кринок дали, по-видимому, другое направление его мыслям, потому что отец Перламутрий откашлялся солидно и подумал о чём-то, улыбаясь.

Вошёл Димка и, спрятав кусок сала за спину, проговорил негромко:

— Здравствуйте, батюшка.

Отец Перламутрий вздохнул, перевёл взгляд на Димку и спросил, не поднимаясь:

— Ты что, чадо<sup>1</sup>, ко мне или к попадье?

— К ней, батюшка.

— Гм... А поелику она в отлучке, я пока за неё.

---

<sup>1</sup> Чадо — дитя на церковнославянском языке, на котором написаны молитвы. Поп употребляет много церковнославянских слов.

— Мамка прислала. Повредилась немного, так по-ди, говорит, не даст ли попадья малость йоду. И пузырёк вот прислала махонький.

— Пузырёк... Гм... — с сомнением кашлянул отец Перламутрий. — Пузырёк что!.. А что ты, хлопец, руки назад держишь?

— Сала тут кусок. Говорила мать, если нальёт, отдай в благодарность...

— Если нальёт?

— Ей-богу, так и сказала.

— О-хо-хо, — проговорил отец Перламутрий поднимаясь. — Нег, чтобы просто прислать, а вот: «если нальёт»... — И он покачал головой. — Ну, давай, что ли, сало... Старое!

— Так нового ещё ж не кололи, батюшка.

— Знаю и сам, да можно бы пожирнее... хоть и старое. Пузырёк где? Что это мать тебе целую четверть не дала? Разве ж возможно полный?

— Да в нём, батюшка, два напёрстка всего. Куда же меньше?

Батюшка постоял, немного раздумывая.

— Ты скажи-ка, пусть лучше мать сама придёт. Я прямо сам ей и смажу. А наливать... к чему же?

Но Димка отчаянно замотал головой.

— Гм... Что ты головой мотаешь?

— Да вы, батюшка, наливайте, — поспешно заговорил Димка, — а то мамка наказывала: «Как если не будут давать, бери, Димка, сало и тащи назад».

— А ты скажи ей: «Дарствующий да не печётся о даре своём, ибо будет пред лицом всевышнего дар сей всеу»<sup>1</sup>. Запомнишь?

— Запомню! А вы всё-таки наливайте, батюшка.

Отец Перламутрий надел на босу ногу туфли — причём Димка подивился их необычайным размерам — и, прихватив сало, ушёл с пузырьком в другую комнату.

— На вот, — проговорил он, выходя. — Только от доброты своей... — И спросил, подумав: — А у вас куры несутся, хлопец?

---

<sup>1</sup> «Дарствующий да не печётся о даре своём, ибо будет пред лицом всевышнего дар сей всеу» (церковнославянский язык) — тот, кто жертвует, не должен об этом жалеть, так как иначе дар этот не будет угоден богу.



— От доброты! — разозлился Димка. — Меньше половины... — И на повторный вопрос, выходя из двери, ответил серьёзно: — У нас, батюшка, кур нету, одни петухи только.

\* \* \*

Между тем о красных не было слуху, и мальчуганам приходилось быть начеку.

И всё же часто они пробирались к сараям и подолгу проводили время возле незнакомца.

Он охотно болтал с ними, рассказывал и шутил даже. Только иногда, особенно когда заходила речь о фронтах, глубокая складка залегала возле бровей, он замолкал и долго думал о чём-то.

— Ну что, мальчуганы, не слышать, как там?

«Там» — это на фронте. Но слухи в деревне ходили смутные, разноречивые.

И хмурился и нервничал тогда незнакомец. И видно было, что больше, чем ежеминутная опасность, больше, чем страх за свою участь, тяготили его незнание, бездействие и неопределённость.

Привязались к нему оба мальчугана. Особенно Димка. Как-то раз, оставив дома плачущую мать, пришёл он к сараям печальный, мрачный.

— Головень бьёт... — пояснил он. — Из-за меня мамку гонит, Топа тоже... Уехать бы к бабушке в Питер. Но никак.

— Почему никак?

— Не проедешь: пропуски разные. Да билеты, где их выхлопочешь? А без них нельзя.

Подумал незнакомец и сказал:

— Если бы были красные, я бы тебе достал пропуск, Димка.

— Ты?! — удивился гот. И после некоторого колебания спросил то, что давно его занимало: — А ты кто? Я знаю: ты пулемётный начальник, потому что раз возле тебя солдат был с «люкисом».

Засмеялся незнакомец и кивнул головой так, что можно было понять — и да и нет.

И с тех пор Димка ещё больше захотел, чтобы скорее пришли красные. А неприятностей у него набиралось всё больше и больше. Безжалостный Топ уже пя-

тый раз требовал по гвоздю и, несмотря на то, что получал их, всё-таки проболтался матери. Затем в кармане штанов мать разыскала остатки махорки, которую Димка таскал для раненого. Но самое худшее надвинулось только сегодня. По случаю праздника за доброхотными даяниями завернул в хату отец Перламутрий. Между разговорами он вставил, обращаясь к матери:

— А сало всё-таки старое, так ты бы с десяточек яиц за лекарство дополнительно...

— За какое ещё лекарство?

Димка заёрзал беспокойно на стуле и съёжился под устремлёнными на него взглядами.

— Я, мама... собачке, Шмелику... — неуверенно ответил он. — У него ссадина была здоровая...

Все замолчали, потому что Головень, двинувшись на скамейке, сказал:

— Сегодня я твоего пса пристрелю. — И потом добавил, поглядывая как-то странно: — А к тому же ты врёшь, кажется. — И не сказал больше ничего, не избил даже.

— Возможно ли! Для всякой твари сей драгоценный медикамент? — с негодованием вставил отец Перламутрий. — А поелику солгал, повинен дважды: на земле и на небеси. — При этом он поднял многозначительно большой палец, перевёл взгляд с земляного пола на потолок и, убедившись в том, что слова его произвели должное впечатление, добавил, обращаясь к матери: — Так я, значит, на десяточек располагаю.

Вечером, выходя из дома, Димка обернулся и заметил, что у плетня стоит Головень и провожает его внимательным взглядом.

Он нарочно свернул к речке.

— Димка, а говорят про нашего-то на деревне, — огорошил его при встрече Жиган. — Тут, мол, он недалеко где-либо. Потому рубашка... а к тому же Сёмка старостин возле Горпининога забора книжку нашёл, тоже кровавая. Я сам один листочек видел. Белый, а в углу буквы «Р. В. С.» и палочки, вроде как на часах.

Димке даже в голову шибануло.

— Жиган, — шёпотом сказал он, хотя кругом ни-

кого не было, — надо, тово... ты не ходи туда прямо.... лучше гокруг бегай. Как бы не заметили.

Предупредили незнакомца.

— Что же, — сказал он, — будьте только осторожней, ребята. А если не поможет, ничего тогда не поделаешь... Не хотелось бы, правда, так нелепо пропасть...

— А если лепо?

— Нет такого слова, Димка. А если не задаром, тогда можно.

— И песня такая есть, — вставил Жиган. — Кабы не теперь, я спел бы, — хорошая песня. Повели коммуниста, а он им объясняет у стенки... Мы знаем, говорит, по какой причине боремся, знаем, за что и умираем... Только ежели словами рассказывать, не выходит. А вот когда солдаты на фронт уезжали, ну и пели... Уж на что железнодорожные, и те рты раскрыли, так тебя и забирает.

Домой возвращались поодиночке. Димка ушёл раньше; он добросовестно направился к реке, а оттуда домой.

Между тем Жиган со свойственной ему беспечностью захватил у незнакомца флягу, чтобы набрать воды, забыл об уговорах и пошёл ближайшим путём — через огороды. Замечтавшись, он засвистел и оборвал сразу, когда услышал, как что-то хрустнуло возле кустов.

— Стой, дьявол! — крикнул кто-то. — Стой, собака!

Он испуганно шарахнулся, бросился в сторону, взметнулся на какой-то плетень и почувствовал, как кто-то крепко ухватил его за штанину. С отчаянным усилием он лягнул ногой, по-видимому попав кому-то в лицо. И, перевалившись через плетень на грядки с капустой, выпустив флягу из рук, он кинулся в темноту...

Димка вернулся, ничего не подозревая, и сразу же завалился спать. Не прошло и двадцати минут, как в хату с ругательствами ввалился Головень и сразу же закричал на мать:

— Пусть лучше твой дьяволёнок и не ворочается вовсе... Ногой меня по лицу съездил... Убью...

— Когда съездил? — со страхом спросила мать.

— Когда? Сейчас только.

— Да он спит давно.

— А, чёрт! Прибѣг, значит, только что. Каблуком по лицу стукнул, а она — «спит!» — и он распахнул дверь, направляясь к Димке.

— Что ты! Что ты! — испуганно заговорила мать. — Каким каблуком? Да у него с весны и обуви нет никакой. Он же босый! Кто ему покупал?.. Ты спятил, что ли?

Но, по-видимому, Головень тоже сообразил, что нету у Димки ботинок. Он остановился, выругался и вошёл в избу.

— Гм... — промычал он, усаживаясь на лавку и бросая на стол флягу. — Ошибка вышла. Но кто же и где его скрывает? И рубашка, и листки, и фляга... — Потом помолчал и добавил: — А собаку-то вашу я убил всё-таки.

— Как убил?! — переспросила мать.

— Так. Бабахнул в башку, да и всё тут.

Димка, уткнувшись лицом в полушубок, зарывшись глубоко в поддёвку, дѣргался всем телом и плакал беззвучно, но горько-горько. Когда утихло всё, ушёл на сеновал Головень, подошла к Димке мать и, заметив, что он всхлипывает, сказала, успокаивая:

— Ну будет, Димушка! Стоит об собаке...

Но при этом напоминании перед глазами Димки ещё яснее и ярче встал образ ласкового, помахивающего хвостом Шмеля, и ещё с большей силой он затрясся и ещё крепче втиснул голову в намокшую от слѣз овчину.

\* \* \*

— Эх ты! — проговорил Димка и не сказал больше ничего.

Но почувствовал Жиган в словах его такую горечь, такую обиду, что смутился окончательно.

— Разве ж я знал, Димка?

— «Знал!» А что я говорил?.. Долго ли было кругом обежать? А теперь что? Вот Головень седло налаживает, ехать куда-то хочет. А куда? Не иначе, как к Лѣвке или ещё к кому — даёшь, мол, обыск!

Незнакомец тоже посмотрел на Жигана. Был в его глазах только лёгкий укор, и сказал он мягко:

— Хорошие вы, ребята... — и даже не рассердился, как будто не о нём и речь шла.

Жиган стоял молча, глаза его не бегали, как всегда, по сторонам, ему нечем было оправдываться, да и не хотелось. И он ответил хмуро и не на вопрос:

— А красные в городе Нищий Авдей пришёл. Много, говорит, и всё больше на конях. — Потом он поднял глаза и сказал всё тем же виноватым и негромким голосом: — Я попробовал бы... Может, проберусь, как-нибудь... успею ещё.

Удивился Димка. Удивился незнакомец, заметив серьёзно остановившиеся на нём большие тёмные глаза мальчугана. И больше всего удивился откуда-то внезапно набравшейся решимости сам Жиган.

Так и решили. Торопливо вырвал незнакомец листок из книжки. И пока он писал, увидел Димка в левом углу те же три загадочные буквы «Р. В. С.», и потом палочки, как на часах.

— Вот, — проговорил он, подавая, — возьми, Жиган... ставлю аллюр, два креста. С этим значком каждый солдат — хоть ночью, хоть когда — сразу же отдаст начальнику. Да не попадись смотри.

— Ты не подкачай, — добавил Димка. — А то не берись вовсе... Дай я.

Но у Жигана снова заблестели глаза, и он ответил с ноткой вернувшегося бахвальства:

— Знаю сам... Что мне, впервой, что ли?

И, выскочив из щели, он огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, пустился краем наперерез дороге.

Солнце стояло ещё высоко над никольским лесом, когда выбежал на дорогу Жиган и когда мимо Жигана по той же дороге рысью промчался куда-то Головень.

\* \* \*

Недалеко от опушки Жиган догнал подводы, нагруженные мукой и салом. На телегах сидело пять человек с винтовками. Подводы двигались потихоньку, а Жигану надо было горопиться, поэтому он свернул в кусты и пошёл дальше не по дороге, а краем леса.

Попадались полянки, заросшие высокими жёлтыми

цветами. В тени начинала жужжать мошкара. Проглядывали ягоды дикой малины. На ходу он оборвал одну, другую, но не остановился ни на минуту.

«Вёрст пять отмахал! — подумал он. — Хорошо бы дальше также без задержки». Замедляли ходьбу сучья, и он вышел на дорогу.

Завернул за поворот и зажмурился. Прямо навстречу брызгали густые красноватые лучи заходящего солнца. С верхушки высокого клёна по-вечернему звонко пересвисгнула какая-то пташка, и что-то затрепыхалось в листве кустов.

— Эй! — услышал он негромкий окрик.

Обернулся и не увидел никого.

— Эй, хлопец, поди сюда!

Жиган разглядел за небольшим стогом сена у края дороги двух человек с винтовками, кого-то поджидавших. В стороне у деревьев стояли их кони.

Подошёл.

— Откуда ты идёшь?.. Куда?

— Оттуда... — и он, махнув рукой, запнулся, придумывая дальше. — С хутора я. Корова убегла... Может, повстречали где? Рыжая и рог у ей один спилен. Ей-богу, как провалилась, а без её — хоть не ворочайся.

— Не видели... Тёлка тут бродила какая-то, так ты наши ещё в утро сожрали... А тебе не попадались подводы какие?

— Едут какие-то... должно, рядом уже.

Последнее сообщение крайне заинтересовало спрашивающих, потому что они поспешно направились к коням.

— Забирайся! — крикнул один, подводя лошадей. — Сядешь ко мне за спину.

— Мне домой надо, у меня корова... — жалобно завопил Жиган. — Куда я поеду?..

— Забирайся, куда говорят. Тут недалеко отпустим. А то ты ещё сболтнешь подвочникам.

Тщетно уверял Жиган, что у него корова, что ему домой и что он ни слова не скажет подвочникам, — ничто не помогало. И совершенно неожиданно для себя он очутился за спиной у одного из зелёных. Поехали рысью. В другое время это доставило бы ему очень большое удовольствие, но сейчас совсем нет, особенно

когда он понял из нескольких брошенных слов, что едут они к отряду Лёвки, ожидающемуся чего-то в лесу. «А ну как Головень там, — мелькнула вдруг мысль, — да узнает сейчас, что тогда?» И, почти не раздумывая, под впечатлением обуявшего его ужаса, он слетел кубарем с лошади и бросился с дороги.

— Куда, дьяволёнок? — круто остановил лошадь и вскинул винтовку один.

Может быть, и не успел бы добежать до деревьев Жиган, если бы другой не схватил за руку товарища и не крикнул сердито:

— Стой!.. Не стреляй: всё дело испортишь.

Не вбежал, а врезался в гущу леса Жиган. Напролом через чащу, через кусты, глубже и глубже. И только когда очутился посреди сплошной заросли осинника и сообразил, что никак не смогут проникнуть сюда конные, остановился перевести дух.

«Лёвка! — подумал он. — Не иначе, как к нему Головень. — И сразу же сжалось сердце. — Хоть бы не успели до темноты: ночью всё равно не найдут, а утром, может, красные...»

На дороге грохнул выстрел, другой... и пошло.

«С обозниками, — догадался он. — Скорей надо, а тут на-ко: без пути».

Но лес поредел вскоре, и под ногами у него снова очутилась дорога. Жиган вздохнул и бегом пустился дальше. Не прошло и двадцати минут, как рысью прямо навстречу ему вылетел торопившийся куда-то отряд. Не успел он опомниться, как оказался окружённым всадниками. Повел испуганными глазами. И чуть не упал со страху, увидев среди них Головню. Но то ли потому, что тог всего раз или два встречал Жигана, потому ли, что не ожидал наткнуться здесь на мальчугана, или, наконец, может быть, потому, что принялся подтягивать подпругу у плохонького, наспех наложенного седла, только Головень не обратил на него никакого внимания.

— Хлопец, — спросил его один, грузный и с большими седоватыми усами, — тебя куда дьявол несёт?

— С хутора... — начал Жиган. — Корова у меня... чёрная, и пятна на ей...

— Врёшь! Тут и хутора никакого нет.

Испугался Жиган ещё больше и ответил, запинаясь:

— Да не тут... А как стрелять начали, испугался и убежал...

— Слышали? — перебил первый. — Я ж говорил, что где-то стреляют.

— Ей-богу, стреляли, — заговорил быстро, начиная о чем-то догадываться, Жиган, — на Никольской дороге. Там Козолупу мужики продукт везли. А Лёвкины ребята на них напали.

— Как напали?! — гневно заорал всадник. — Как они смели!

— Ей-богу, напали... Сам слышал: чтоб, говорят, сдохнуть Козолупу... Жирно с него... и так обжирается, старый чёрт...

— Слышали?! — заревел зелёный. — Это я обжирюсь?

— Обжирается, — подтвердил Жиган, у которого язык заработал, как мельница. — Если, говорят, сунется он, мы напомним ему... Мне что? Это всё ихние разговоры.

Жиган готов был выпалить ещё не один десяток обидных для достоинства Козолупа слов, но тот и так был взбешён до крайности и потому рывкнул грозно:

— По ко́ням!

— А с ним что? — спросил кто-то, указывая на Жигана.

— А всыпь ему раз плетью, чтобы не мог впредь такие слова слушать.

Ускакал отряд в одну сторону, а Жиган, получив ни за что ни про что по спине, помчался в другую, радуясь, что ещё так легко отделался.

«Сейчас схватятся, — подумал он на бегу. — А пока разберутся, глядишь — и ночь уже».

Миновали сумерки. Высыпали звёзды, спустилась ночь. А Жиган то бежал, то шёл, тяжело дыша, то изредка останавливался — перевести дух. Один раз, услышав мерное бульканье, отыскал в темноте ручей и хлебнул, разгорячённый, несколько глотков холодной воды. Один раз шархнулся испуганно, наткнувшись на сиротливо покривившийся придорожный крест. И понемногу отчаяние начало овладевать им. Бежишь, бежишь, и всё конца нету. Может, и сбился давно. Хоть бы спросить у кого.

Но не у кого было спрашивать. Не попадались на



пути ни крестьяне на ленивых волах, ни косари, приютившиеся возле костра, ни ребята с конями, ни запоздалые прохожие из города. Пуста и молчалива была тёмная дорога. И только соловей всюду насвистывал, только он один не боялся и смеялся звонко над ночными страхами притихшей земли.

И вот, в то время, когда Жиган совсем потерял всякую надежду выйти хоть куда-либо, дорога разошлась на две. «Ещё новое! Теперь-то по какой?» И он остановился.

— Го-го... — донеслось до его слуха негромкое гоготанье. «Гуси!» — чуть не вскрикнул он. И только сейчас разглядел почти что перед собою, за кустами, небольшой хутор.

Завыла отчаянно собака, точно к дому подходил не мальчуган, а медведь. Захрюкали потревоженные свиньи, и Жиган застучал в дверь:

— Эй! Эй! Отворите!

Сначала молчанье. Потом в хате послышался кашель, возня, и бабий голос проговорил негромко:

— Господи, кого же ещё-то несёт?

— Отворите! — повторял Жиган.

Но не такое было время, чтобы в полночь отворять всякому. И чей-то хриплый бас спросонок:

— Кто там?

— Откройте! Это я, Жиган.

— Какой ещё, к чёрту, жиган? Вот я тебе из берданки пальну через дверь!

Жиган откатился сразу в сторону и, сообразив свою оплошность, завопил:

— Не жиган! Не жиган... Это прозвище такое... Васькой зовут... Я ж ещё малый... А мне дорогу б спросить, какая в город.

— Что с краю, та в город, а другая в Поддубовку.

— Они ж обе с краю!.. Разве через дверь поймёшь!

Очевидно, раздумывая, помолчали немного за дверью.

— Так иди к окошку, оттуда покажу. А пустить... не-ет! Мало что маленький. Может, за тобой здоровый битюг сидит.

Окошко открылось, и дорогу Жигану показали.

— Тут недалече, с версту всего. Сразу за опушкой.

— Только-то!

И, окрылённый надеждой, Жиган снова пустился бегом.

\* \* \*

На кривых улочках его сразу же остановил патруль и показал штаб. Сонный красноармеец ответил нехотя:

— Какую ещё записку! Приходи утром. — Но, заметив крестики спешного аллюра, бумажку взял и позвал: — Эй, там!.. Где дежурный?

Дежурный посмотрел на Жигана, развернул записку и, заметив в левом углу все те же три загадочные буквы «Р. В. С.», сразу же подвинул огонь. И только прочитал — к телефону: «Командира!.. Комиссара!», а сам торопливо заходил по комнате.

Вошли двое.

— Не может быть! — удивлённо крикнул один.

— Он!.. Конечно, он! — радостно перебил другой. — Его подпись, его бланк. Кто привёз?

И только сейчас взоры всех обратились на притихшего в углу Жигана.

— Какой он?

— Чёрный... в сапогах... и звезда у его прилеплена, а из неё красный флажок.

— Ну да, да, орден!

— Только скорей бы, — добавил Жиган, — светать скоро будет... А тогда бандиты... убьют, коли найдут.

И что тут поднялось только! Забегали все, зазвонили телефоны, затопали кони. И среди всей этой суматохи разобрал утомлённый Жиган несколько раз повторявшиеся слова: «Конечно, армия!.. Он!.. Реввоенсовет!».

Затрубила быстро-быстро труба, и от лошадиного топота задрожали стёкла.

— Где? — порывисто распахнув дверь, вошёл вооружённый маузером и шашкой командир. — Это ты, мальчуган?.. Васильченко, с собой, на коня...

Не успел Жиган опомниться, как кто-то сильными

руками поднял его с земли и усадил на лошадь. И снова заиграла труба.

— Скорей! — повелительно крикнул кто-то с крыльца. — Вы должны успеть!

— Даёшь! — ответили эхом десятки голосов.

Потом:

— А-аррш!

И, сразу сорвавшись с места, врезался в темноту конный отряд.

\* \* \*

А незнакомец и Димка с тревогой ожидали и чутко прислушивались к тому, что делается вокруг.

— Уходи лучше домой, — несколько раз предлагал незнакомец Димке.

Но на того словно упрямство какое нашло.

— Нет, — мотал он головой, — не пойду.

Выбрался из щели, разворошил солому, забросал ею входное отверстие и протискался обратно.

Сидели молча: было не до разговоров. Один раз только проговорил Димка, и то нерешительно:

— Я мамке сказал: может, говорю, к батьке скоро поедем; так она чуть не поперхнулась, а потом давай ругать: «Что ты языком только напрасно треплешь!»

— Поедешь, поедешь, Димка. Только бы...

Но Димка сам чувствует, какое большое и страшное это «только бы», и потому он притих у соломы, о чём-то раздумывая.

Наступал вечер. В сарае резче и резче проглядывала тёмная пустота осевших углов. И расплывались в ней незаметно остатки пробирающегося сквозь щели света.

— Слушай!

Димка задрожал даже.

— Слышу!

И незнакомец крепко сжал его плечо.

— Но кто это?

За деревней, в поле, захлопали выстрелы, частые, беспорядочные. И ветер донёс их сюда беззвучными хлопками игрушечных пушек.

— Может, красные?

— Нет, нет, Димка! Красным рано ещё.

Всё смолкло. Прошёл ещё час. И топот и крики, наполнившие деревеньку, донесли до сараев тревожную весть о том, что кто-то уже здесь, рядом.

Голоса то приближались, то удалялись, но вот слышались близко-близко.

— И по погребам? И по клуням? — спросил чей-то резкий голос.

— Везде, — ответил другой. — Только сдаётся мне, что скорей здесь где-нибудь.

«Головены!» — узнал Димка, а незнакомец протянул руку, и чуть заблестел в темноте холодновато-спокойный наган.

— Темно, пес их возьми! Проканителились из-за Лёвки сколько!

— Темно! — повторил кто-то. — Тут и шею себе сломишь. Я полез было в один сарай, а на меня доски сверху... чуть не в башку.

— А место такое подходящее. Не оставить ли во круг с пяток ребят до рассвета?

— Оставить.

Чуть-чуть отлегло. Пробудилась надежда. Сквозь одну из щелей видно было, как вспыхнул недалеко костёр. Почти что к самой заваленной двери подошла лошадь и нехотя пожевала клок соломы.

Рассвет не приходил долго. Задрожала наконец зарница, помутнели звёзды. Скоро и обыск. Не успели или не пробрался вовсе Жиган.

— Димка, — шёпотом проговорил незнакомец, — скоро будут искать. В той стороне, где обвалились ворота, есть небольшое отверстие возле земли... Ты маленький и пролезешь... Ползи туда.

— А ты?

— А я тут... Под кирпичами, ты знаешь где, я спрятал сумку, печать и записку про тебя. Отдай красным, когда бы ни пришли. Ну, уползай скорей! — и незнакомец крепко, как большому, пожал ему руку и оттолкнул тихонько от себя.

А у Димки слёзы подступили к горлу. И было ему страшно, и было ему жалко оставлять одного незна-

комца. И, закусив губу, глотая слёзы, он пополз, спотыкаясь о разбросанные остатки кирпичей.

— Тара-та-тах! — прорезало вдруг воздух. — Тара-та-тах! Ба-бах!.. Тиу-у, тиу-у... — взвизгнуло над сараями.

И крики, и топот, и зазвеневшее эхо от разряжённых обойм «льюисов» — всё это так внезапно врезалось, разбило предрассветную тишину и вместе с ней и долгое ожидание, что не запомнил и сам Димка, как очутился он опять возле незнакомца. И, не будучи более в силах сдерживаться, заплакал громко-громко.

— Чего ты, глупый? — радостно спросил тот.

— Да ведь это же они... — отвечал Димка, улыбаясь, но не переставая плакать.

И ещё не смолкли выстрелы за деревней, ещё кричали где-то, когда затопали лошади около сараев. И знакомый задорный голос завопил:

— Сюда! Зде-есь!

Отлетели снопы в сторону. Ворвался свет в щель. И кто-то спросил тревожно и торопливо:

— Вы здесь, товарищ Сергеев?

И народу кругом сколько появилось откуда-то — и командир, и комиссар, и красноармейцы, и фельдшер с сумкой! И все гоготали и кричали что-то совсем несуразное.

— Димка, — захлёбываясь от гордости, торопился рассказать Жиган, — я успел... назад на коне летел... И сейчас, с зелёными тоже схватился... в самую гущу... Как рубанул одного по башке, так тот и свалился!

— Ты врешь, Жиган... Обязательно врешь... У тебя и сабли-то нету, — ответил Димка и засмеялся сквозь не высохшие ещё слёзы.

\* \* \*

Весь день было весело.

Димка вертелся повсюду. И все ребятишки дивились на него здорово и целыми ватагами ходили смотреть, где прятался беглец, так что к вечеру, как посл

стада коров, намята и утоптана была солома возле логова.

Должно быть, большим начальником был недавний пленник, потому что слушались его и командиры и красноармейцы.

Написал он Димке всякие бумаги, и на каждую бумагу печать поставили, чтобы не было никакой задержки ни ему, ни матери, ни Топу до самого города Петрограда.

А Жиган среди бойцов чёртом ходил и песни такие заворачивал, что только ну! И хохотали над ним красноармейцы и тоже дивились на его глотку.

— Жиган! А ты теперь куда?

Остановился на минуту Жиган, как будто лёгкая тень пробежала по его маленькому лицу, потом головой тряхнул отчаянно:

— Я, брат, фьи-ить! Даёшь по станциям, по эшелонам. Я сейчас новую песню у них перенял:

Ночь прошла в полевом лазарети;  
День весенний и яркий настал.  
И при солнечном, теплом рассвете-ги  
Молодой командир умирал...

Хоро-ошая песня! Я спел—гляжу: у старой Горпины слёзы катятся. «Чего ты, говорю, бабка?» — «Та умирал же!» — «Э, бабка, дак ведь это в песне». — «А когда б только в песне, — говорит, — а сколько ж и взаправду». Вот в эшелонах только, — добавил он, запнувшись немного, — некоторые из товарищей не доверяют. «Катись, — говорят, — колбасой. Может, ты шантрапа или шарлыган. Украдёшь чего-либо». Вот кабы и мне бумагу!

— А давайте напишем ему, в самом деле, — предложил кто-то.

— Напишем, напишем.

И написали ему, что «есть он, Жиган, не шантрапа и не шарлыган, а элемент, на факте доказавший свою революционность», а потому «оказывать ему, Жигану, содействие в пении советских песен по всем станциям, поездам и эшелонам».

И много ребят подписалось под той бумагой — целые пол-листа да ещё на обратной. Даже рябой Пан-

тюшкин, тот, который ещё только на прошлой неделе писать научился, вычертил всю фамилию до буквы. А потом понесли к комиссару, чтобы дать печать. Прочитал комиссар.

— Нельзя, — говорит, — на такую бумагу полковую.

— Как же нельзя? Что, от ней убудет, что ли? Приложите, пожалуйста. Что же, даром, что ли, старался малый?

Улыбнулся комиссар:

— Этот самый, с Сергеевым?

— Он, язви его шельма.

— Но уж в виде исключения, — и тиснул по бумаге.

Сразу же на ней РСФСР, серп и молот — документ.

И такой это вечер был, что давно не запомнили поселяне. Уж чего там говорить, что звёзды, как начищенные кирпичом, блестели или как ветер густым настоем отцветающей гречихи пропитал всё. А на улицах что делалось! Высыпали как есть все за ворота. Смеялись красноармейцы задорно, визжали девчата звонко. А лекпом Придорожный, усевшись на митинговых брёвнах перед обступившей его кучкой, наигрывал на двухрядке.

Ночь спускалась тихо-тихо; зажглись огоньками разбросанные домики. Ушли старики, ребятишки. Но долго ещё по залигым лунным светом улочкам смеялась молодёжь. И долго ещё наигрывала искусно лекпомова гармоника и спорили с ней переливчатыми посвистами соловьи из соседней прохладной рощи.

А на другой день уезжал незнакомец. Жиган и Димка провожали его до поскотины. Возле покосившейся загородки он остановился. Остановился за ним и весь отряд. И перед всеми солдатами незнакомец крепко пожал руки ребятишкам.

— Может быть, когда-нибудь я тебя увижу в Петрограде, — проговорил он, обращаясь к Димке. — А тебя... — и он запнулся немного.

— Может, где-нибудь, — неуверенно ответил Жиган.

Ветер чуть-чуть шевелил волосы на его лохматой головёнке. Худенькие руки крепко держались за перекладины, а большие глубокие глаза уставились вдаль, перед собой...

На дороге чуть заметной гочкой виднелся ещё отряд. Вот он взметнулся на последнюю горку возле никольского оврага... скрылся. Улеглось облачко пыли, поднятое копытами над гребнем холма. Проглянуло сквозь него поле под гречихой, и на нём — больше никого.





## ГОЛУБАЯ ЧАШКА

Мне тогда было тридцать два года. Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной.

Только в конце лета я получил отпуск, и на последний тёплый месяц мы сняли под Москвой дачу.

Мы со Светланой думали ловить рыбу, купаться, собирать в лесу грибы и орехи. А пришлось сразу подметать двор, подправлять ветхие заборы, протягивать верёвки, заколачивать костыли и гвозди.

Нам всё это скоро надоело, а Маруся одно за другим всё новые да новые дела и себе и нам придумывает.

Только на третий день к вечеру наконец-то всё было сделано. И как раз, когда собирались мы втроём идти гулять, пришёл к Марусе её товарищ — полярный лётчик.

Они долго сидели в саду, под вишнями. А мы со

Светланой ушли во двор к сараю и с досады взялись мастерить деревянную вертушку.

Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана выпила молока и легла спать, а сама пошла проводить лётчика до вокзала.

Но мне без Маруси стало скучно, да и Светлана одна в пустом доме спать не захотела.

Мы достали в чулане муку. Заварили её кипятком — получился клейстер.

Оклеили гладкую вертушку цветной бумагой, хорошенько разгладили и через пыльный чердак полезли на крышу.

Вот сидим мы верхом на крыше. И видно нам сверху, как в соседнем саду, у крыльца, дымит трубой самовар. А на крыльце сидит хромой старик с балалайкою, и возле него толпятся ребятишки.

Потом выскочила из чёрных сеней босоногая сторбленная старуха. Ребятишек турнула, старика обругала и, схватив тряпку, стала хлопать по конфорке самовара, чтобы он закипел быстрее.

Посмеялись мы и думаем: вот подует ветер, закружится, зажужжит наша быстрая вертушка. Ото всех дворов сбегутся к нашему дому ребятишки. Будет и у нас тогда своя компания.

А завтра что-нибудь ещё придумаем.

Может быть, выроем глубокую пещеру для той лягушки, что живёт в нашем саду, возле сырого погреба.

Может быть, попросим у Маруси суровых ниток и запустим бумажного змея — выше силосной башни, выше жёлтых сосен и даже выше того коршуна, который целый день сегодня сторожил с неба хозяйских цыплят и крольчат.

А может быть, завтра с раннего утра сядем в лодку — я на вёсла, Маруся за руль, Светлана пассажиром — и уплывем по реке туда, где стоит, говорят, большой лес, где растут на берегу две дуплистые берёзы, под которыми нашла вчера соседская девчонка три хороших белых гриба. Жаль только, что все они были червивые.

Вдруг Светлана потянула меня за рукав и говорит:

— Посмотри-ка, папа, а ведь, кажется, это наша мама идёт, и как бы нам с тобой сейчас не попало.

И правда, идёт по тропинке вдоль забора наша Маруся, а мы-то думали, что вернётся она ещё не скоро.

— Наклонись, — сказал я Светлане. — Может быть, она и не заметит.

Но Маруся сразу же нас заметила, подняла голову и крикнула:

— Вы зачем это, негодные люди, на крышу залезли? На дворе уже сыро. Светлане давно спать пора. А вы обрадовались, что меня нет дома, и готовы баловать хоть до полуночи.

— Маруся, — ответил я, — мы не балуем, мы вертушку приколачиваем. Ты погоди немного, нам всего три гвоздя доколотить осталось.

— Завтра доколоти, — приказала Маруся. — А сейчас слезайте, или я совсем рассержусь.

Переглянулись мы со Светланой. Видим, плохо наше дело. Взяли и слезли. Но на Марусю обиделись.

И хотя Маруся принесла со станции Светлане большое яблоко, а мне пачку табаку, — всё равно обиделись.

Так с обидой и уснули.

А утром — ещё новое дело! Только что мы проснулись, подходит Маруся и спрашивает:

— Лучше сознавайтесь, озорной народ, что в чулане мою голубую чашку разбили!

А я чашки не разбивал. И Светлана говорит, что не разбивала тоже. Посмотрели мы с ней друг на друга и подумали оба, что уж это на нас Маруся говорит совсем напрасно.

Но Маруся нам не поверила.

— Чашки, — говорит она, — не живые: ног у них нет. На пол они прыгать не умеют. А кроме вас двоих, в чулан никто вчера не лазил. Разбили и не сознайтесь. Стыдно, товарищи!

После завтрака Маруся вдруг собралась и отправилась в город, а мы сели и задумались.

Вот тебе и на лодке поехали!

И солнце к нам в окно заглядывает. И воробьи по песчаным дорожкам скачут. И цыплята сквозь деревянный плетень со двора на улицу и с улицы на двор шмыгают.

А нам совсем не весело.

— Что ж! — говорю я Светлане. — С крыши нас с тобой вчера согнали. Банку из-под керосина у нас недавно отняли. За какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь?

— Конечно, — говорит Светлана, — жизнь совсем плохая.

— А давай-ка, Светлана, надень ты своё розовое платье. Возьмём мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твоё яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдём из этого дома куда глаза глядят.

Подумала Светлана и спрашивает:

— А куда твои глаза глядят?

— А глядят они, Светлана, через окошко, вот на ту жёлтую поляну, где пасётся хозяйская корова. А за поляной, я знаю, гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе берёзовая роща. А что там, за горой, уж этого я и сам не знаю.

— Ладно, — согласилась Светлана, — возьмём и хлеб, и яблоко, и табак, а только захвати ты с собой ещё толстую палку, потому что где-то в той стороне живёт ужасная собака Полкан. И говорили мне про неё мальчишки, что она одного чуть-чуть до смерти не заела.

Так мы и сделали. Положили в сумку что надо было, закрыли все пять окон, заперли двери, а ключ подсунули под крыльцо.

Прощай, Маруся! А чашки твоей мы всё равно не разбивали.

Вышли мы за калитку, а навстречу нам молочница.

— Молока надо?

— Нет, бабка! Нам больше ничего не надо.

— У меня молоко свежее, хорошее, от своей коровы, — обиделась молочница. — Вернётесь, так пожалеете.

Загромыхала она своими холодными бидонами и пошла дальше. А где ей догадаться, что мы далеко уходим и, может, не вернёмся!

Да и никто об этом не догадывался. Прокатил на велосипеде загорелый мальчишка. Прошагал, наверное в лес за грибами, толстый дядька в трусах и с труб-

кой. Прошла белокурая девица с мокрыми после купания волосами. А знакомых мы никого не встретили.

Выбрались мы через огороды на жёлтую от куриной слепоты поляну, сняли сандалии и по тёплой тропинке пошли босиком через луг прямо на мельницу.

Идём мы, идём и вот видим, что от мельницы во весь дух мчится нам навстречу какой-то человек. Пригнулся он, а из-за ракитовых кустов летят ему в спину комья земли.

Странно нам это показалось. Что такое? У Светланы глаза зоркие, остановилась она и говорит:

— А я знаю, кто это бежит. Это мальчишка, Санька Карякин, который живёт возле того дома, где чьи-то свиньи в сад на помидорные грядки залезли. Он вчера ещё против нашей дачи на чужой козе верхом катался. Помнишь?

Добежал до нас Санька, остановился и слёзы ситцевым кульком вытирает.

А мы спрашиваем у него:

— Почему это, Санька, ты во весь дух мчался и почему это за тобой из-за кустов комья летели?

Отвернулся Санька и говорит:

— Меня бабка в колхозную лавку за солью послала. А на мельнице сидит пионер Пашка Букамашкин, и он меня драть хочет.

Посмотрела на него Светлана. Вот так дело!

Разве же есть в Советской стране такой закон, чтобы бежал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал, не задирали и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали?

— Идём с нами, Санька, — говорит Светлана. — Не бойся. Нам по дороге, и мы за тебя заступимся.

Пошли мы втроём сквозь густой ракитник.

— Вот он, Пашка Букамашкин, — сказал Санька и попятился.

Видим мы — стоит мельница. Возле мельницы телега. Под телегой лежит кудластая, вся в репейниках собачонка и, приоткрыв один глаз, смотрит, как шустрые воробьи клюют рассыпанные по песку зёрна. А на кучке песка сидит без рубахи Пашка Букамашкин и грызёт свежий огурец.

Увидел нас Пашка, но не испугался, а бросил огурец в собачонку и сказал, ни на кого не глядя:

— Тю!.. Шарик... Тю!.. Вон идёт сюда известный фашист, белогвардеец Санька. погоди, несчастный фашист, мы с тобой ещё разделаемся.

Тут Пашка плюнул далеко в песок. Кудластая собачонка зарычала. Испуганные воробьи с шумом взлетели на дерево. А мы со Светланой, услышав такие слова, подошли к Пашке поближе.

— Постой, Пашка, — сказал я. — Может быть, ты ошибся? Какой же это фашист, белогвардеец? Ведь это просто-напросто Санька Карякин, который живёт возле того дома, где чьи-то свиньи в чужой сад на помидорные грядки залезли.

— Всё равно белогвардеец, — упрямо повторил Пашка. — А если не верите, то хотите, я расскажу вам всю его историю?

Тут нам со Светланой очень захотелось узнать всю Санькину историю. Мы сели на брёвна, Пашка напротив. Кудластая собачонка у наших ног, на траву. Только Санька не сел, а, уйдя на телегу, закричал оттуда сердито:

— Ты тогда уж всё рассказывай! И как мне по затылку попало, тоже рассказывай. Думаешь, по затылку не больно? Возьми-ка себе да стукни.

— Есть в Германии город Дрезден, — спокойно сказал Пашка, — и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице работает, а Берта с нами играет. Только сейчас она в деревню за молоком побежала. Так вот, играем мы позавчера в чиж: я, Берта, этот человек, Санька, и ещё один из посёлка. Берта бьёт палкой в чиж и попадает нечаянно этому самому Саньке по затылку, что ли...

— Прямо по макушке стукнула, — сказал Санька из-за телеги. — У меня голова загудела, а она ещё смеется.

— Ну вот, — продолжал Пашка, — стукнула она этого Саньку чижом по макушке. Он сначала на неё с кулаками, а потом ничего. Приложил лопух к голове — и опять с нами играет. Только стал он после этого

невозможно жулить. Возьмёт нашагнёт лишний шаг, да и метит чижом прямо на кон.

— Врёшь, врёшь! — выскочил из-за телеги Санька. — Это твоя собака мордой ткнула, вот он, чиж, и подкатился.

— А ты не с собакой играешь, а с нами. Взял бы да и положил чижа на место. Ну вот. Метнул он чижа, а Берта как хватит палкой, так этот чиж прямо на другой конец поля, в крапиву, перелетел. Нам смешно, а Санька злится. Понятно, бежать ему за чижом в крапиву неохота... Перелез через забор и орёт оттуда: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!» А Берта дуру по-русски уже хорошо понимает, а жидовку ещё не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: «Это что такое жидовка?» А мне и сказать совестно. Я кричу: «Замолчи, Санька!» А он нарочно всё громче и громче кричит. Я за ним через забор. Он — в кусты. Так и скрылся. Вернулся я — гляжу: палка валяется на траве, а Берта сидит в углу, на брёвнах. Я зову: «Берта!» Она не отвечает. Подошёл я — вижу, на глазах у неё слёзы. Значит, сама догадалась. Поднял я тогда с земли камень, сунул в карман и думаю: «Ну погоди, проклятый Санька! Это тебе не Германия. С твоим-то фашизмом мы и сами справимся!»

Посмотрели мы на Саньку и подумали: «Ну, брат, плохая у тебя история. Даже слушать противно. А мы-то ещё собирались за тебя заступаться».

И только хотел я это сказать, как вдруг дрогнула и зашумела мельница, закрутилось по воде отдохнувшее колесо. Выскочила из мельничного окна обсыпанная мукой, ошалелая от испуга кошка. Спросонок промахнулась и свалилась прямо на спину задремавшему Шарику. Шарик взвизгнул и подпрыгнул. Кошка метнулась на дерево, воробьи с дерева на крышу. Лошадь вскинула морду и дёрнула телегу. А из сарая выглянул какой-то лохматый, серый от муки дядька и, не разобравшись, погрозил длинным кнутом отскочившему от телеги Саньке:

— Но, но... смотри не балуй, а то сейчас живо выдеру!

Засмеялась Светлана, и что-то жалко ей стало этого несчастного Саньку, которого все хотят выдрать.

— Папа, — сказала она мне. — А может быть, он вовсе и не такой уж фашист? Может быть, он просто дурак? Ведь правда, Санька, что ты просто дурак? — спросила Светлана и ласково взглянула ему в лицо.

В ответ Санька только сердито фыркнул, замотал головой, засопел и хотел что-то сказать. А что тут скажешь, когда сам кругом виноват и сказать-то, по правде говоря, нечего.

Но тут Пашкина собачонка перестала вдруг тявкать на кошку и, повернувшись к полю, подняла уши.

Где-то за рощей хлопнул выстрел. Другой. И пошло, и пошло!..

— Бой неподалёку! — вскрикнул Пашка.

— Бой неподалёку, — сказал и я. — Это палят из винтовок. А вот слышите? Это застрочил пулемёт.

— А кто с кем? — дрогнувшим голосом спросила Светлана. — Разве уже война?

Первым вскочил Пашка. За ним помчалась собачонка. Я подхватил на руки Светлану и тоже побежал к роще.

Не успели мы пробежать полдороги, как услышали позади крик. Мы обернулись и увидели Саньку.

Высоко подняв руки, чтобы мы его скорее заметили, он мчался к нам напрямик через канавы и кочки.

— Ишь ты, как козёл скачет! — пробормотал Пашка. — А чем эго! дурак над головой размахивает?

— Это не дурак. Эго он мои сандалии тащит! — радостно закричала Светлана. — Я их на брёвнях позабыла, и он нашёл и мне их несёт. Ты бы с ним помирился, Пашка!

Пашка насупился и ничего не ответил. Мы подождали Саньку, взяла у него жёлтые Светланины сандалии. И теперь уже четвером, с собакой, прошли через рощу на опушку.

Перед нами раскинулось холмистое, поросшее кустами поле. У ручья, позвякивая жестяными бубенчиками, щипала траву привязанная к колышку коза. А в небе плавно летал одинокий коршун. Вот и всё. И больше никого и ничего на этом поле не было.

— Так где же тут война? — нетерпеливо спросила Светлана.



— А сейчас посмотрю, — сказал Пашка и влез на пенёк.

Долго стоял он, щурясь от солнца и закрывая глаза ладонью. И кто его знает, что он там видел, но только Светлане ждать надоело, и она, путаясь в траве, пошла сама искать войну.

— Мне трава высокая, а я низкая, — приподнимаясь на цыпочках, пожаловалась Светлана. И я совсем ничего не вижу.

— Смотри под ноги, не задень провод, — раздался сверху громкий голос.

Мигом слетел с пенька Пашка. Неуклюже отскочил в сторону Санька. А Светлана бросилась ко мне и крепко схватила меня за руку.

Мы попятились и тут увидели, что прямо над нами, в густых ветвях одинокого дерева, притаился красноармеец. Винтовка висела возле него на суку. В одной руке он держал телефонную трубку и, не шевелясь, глядел в блестящий чёрный бинокль куда-то на край пустынного поля.

Ещё не успели мы промолвить слова, как издалека, словно гром с перекатами и перегудами, ударил страшный орудийный залп. Вздогнула под ногами земля. Далеко от нас поднялась над полем целая туча чёрной пыли и дыма. Как сумасшедшая, подпрыгнула и сорвалась с мочальной верёвки коза. А коршун вильнул в небе и, быстро-быстро махая крыльями, умчался прочь.

— Плохо дело фашистам! — громко сказал Пашка и посмотрел на Саньку. — Вот как бьют наши батареи.

— Плохо дело фашистам, — как эхо, повторил хриплый голос.

И тут мы увидели, что под кустом стоит седой бородатый старик.

У старика были могучие плечи. В руках он держал тяжёлую суковатую дубинку, а у его ног стояла высокая лохматая собака и скалила зубы на поджавшего хвост Пашкиного Шарика.

Старик приподнял широченную соломенную шляпу, важно поклонился сначала Светлане, потом уже всем нам. Потом он положил дубинку на траву, достал кривую трубку, набил её табаком и стал раскуривать.

Он раскуривал долго, то приминая табак пальцем, то ворочая его гвоздем, как кочергой в печке.

Наконец раскурил и тогда так запыхтел и задымил, что сидевший на дереве красноармеец зачихал и кашлянул.

Тут снова загрела батарея, и мы увидели, что пустое и тихое поле разом ожило, зашумело и зашевелилось. Из-за кустарника, из-за бугров, из-за кочек — отовсюду с винтовками наперевес выскакивали красноармейцы.

Они бежали, прыгали, падали, поднимались снова. Они сдвигались, смыкались, их становилось все больше и больше: наконец с громкими криками всей громадой они ринулись в штыки на вершину пологого холма, где ещё дымилось облако пыли и дыма.

Потом всё стихло. С вершины замахал флагами еле нам заметный и точно игрушечный сигналист. Резко заиграла «отбой» военная труба.

Обламывая тяжёлыми сапогами сучья, слез красноармеец-наблюдатель с дерева. Быстро погладил Светлану, сунул ей в руку три блестящих жёлудя и торопливо убежал, сматывая на катушку тонкий телефонный провод.

Военное учение закончилось.

— Ну, видал? — подталкивая Саньку локтем, укоризненно сказал Пашка. — Это тебе не чижом по затылку. Тут вам быстро пособьют макушки.

— Странные я слышу разговоры, — двигаясь вперёд, сказал бородатый старик. — Видно, я шестьдесят лет прожил, а ума не нажил. Ничего мне не понятно. Тут, под горой, наш колхоз «Рассвет». Кругом это наши поля: овёс, гречиха, просо, пшеница. Это на реке наша новая мельница. А там, в роще, наша большая пасака. И над всем этим я главный сторож. Видал я жуликов, ловил и конокрадов, но чтобы на моём участке появился хоть один фашист — при советской власти этого ещё не бывало ни разу. Подойди ко мне, Санька — грозный человек. Дай я на тебя хоть посмотрю. Да постой, постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть страшно.

Всё это неторопливо сказал насмешливый старик и с любопытством заглянул из-под мохнатых бровей... на вытаращившего глаза, изумлённого Саньку.

— Неправда! — шмыгнув носом, завопил оскорблённый Санька. — Я не фашист, а весь советский. А дев-

чонка Берта давно уже не сердится и вчера откусила от моего яблока больше половины. А этот Пашка всех мальчишек на меня натравливает. Сам ругается, а у меня пружину зажулил. Раз я фашист, значит, и пружина фашистская. А он из неё для своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю: «Давай, Пашка, помиримся», а он говорит: «Сначала отдеру, а потом помиримся».

— Надо без дранья мириться, — убеждённо сказала Светлана. — Надо сцепиться мизинцами, поплювать на землю и сказать: «Ссор, ссор никогда, а мир, мир навсегда». Ну, сцепляйтесь! А ты, главный сторож, крикни на свою страшную собаку, и пусть она нашего маленького Шарика не пугает.

— Назад, Полкан! — крикнул сторож. — Ляжь на землю и своих не трогай!

— Ах, вот это кто! Вот он, Полкан-великан, лохматый и зубастый.

Постояла Светлана, покрутилась, подошла поближе и погрозила пальцем:

— И я своя, а своих не трогай!

Поглядел Полкан: глаза у Светланы ясные, руки пахнут травой и цветами. Улыбнулся и вильнул хвостом.

Завидно тогда стало Саньке с Пашкой, подвинулись они и тоже просят:

— И мы свои, а своих не трогай!

Подозрительно потянул Полкан носом: не пахнет ли от хитрых мальчишек морковкой из колхозных огородов? Но тут, как нарочно, вздымая пыль, понёсся по тропинке шальной жеребёнок. Чихнул Полкан, так и не разобравши. Тронуть — не тронул, но хвостом не вильнул и гладить не позволил.

— Нам пора, — спохватился я. — Солнце высоко, скоро полдень. Ух, как жарко!

— До свидания! — звонко попрощалась со всеми Светлана. — Мы опять уходим далеко.

— До свидания! — дружно ответили уже помирившиеся ребяташки. — Приходите к нам опять издалека.

— До свидания, — улыбнулся глазами сторож. — Я не знаю, куда вы идёте и чего ищете, но только знайте: самое плохое для меня далеко — это налево у реки, где стоит наше старое сельское кладбище. А самое хорошее далеко — это направо, через луг, через овраги,

где роют камень. Дальше идите перелеском, обогнёте болото. Там, над озером, раскинулся большущий сосновый лес. Есть в нём и грибы, и цветы, и малина. Там стоит на берегу дом. В нём живут моя дочь Валентина и её сын Фёдор. И если туда попадёте, то от меня им поклонитесь.

Тут чудной старик приподнял свою шляпу, свистнул собаку, запыхтел трубкой, оставляя за собой широкую полосу густого дыма, и зашагал к жёлтому гороховому полю.

Переглянулись мы со Светланой — что нам печальное кладбище! Взялись мы за руки и повернули направо, в самое хорошее далеко.

Перешли мы луга и спустились в овраги.

Видели мы, как из чёрных глубоких ям тащат люди белый, как сахар, камсень. И не один какой-нибудь заваливающийся камешек. Навалили уже целую гору. А колёса всё крутятся, тачки скрипят. И ещё везут. И ещё наваливают.

Видно, немало всяких камней под землёй запрястано.

Захотелось и Светлане заглянуть под землю. Долго, лёжа на животе, смотрела она в чёрную яму. А когда оттащил я её за ноги, то рассказала она, что видела сначала только одну темноту. А потом разглядела под землёй какое-то чёрное море, и кто-то там в море шумит и ворочается. Должно быть, рыба акула с двумя хвостами: один хвост спереди, другой — сзади. И ещё почудился ей Страшила в триста двадцать пять ног. И с одним золотым глазом. Сидит Страшила и гудит.

Хитро посмотрел я на Светлану и спросил, не видела ли она там заодно пароход с двумя трубами, серую обезьяну на дереве и белого медведя на льдине.

Подумала Светлана, вспомнила. И оказывается, что тоже видела.

Погрозил я ей пальцем: ой, не врёт ли? Но она в ответ рассмеялась и со всех ног пустилась бежать.

Шли мы долго, часто останавливались, отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоело, оставляли букеты на дороге.

Я один букет бросил старой бабке в телегу. Испугалась сначала бабка, не разобравши, что такое, и по-

грозила нам кулаком. Но потом увидела, улыбнулась и кинула с воза три больших зелёных огурца.

Огурцы мы подняли, вытерли, положили в сумку и весело пошли своей дорогой.

Встретили мы на пути деревеньку, где живут те, что пахут землю, сеют в поле хлеб, сдят картошку, капусту, свеклу или в садах и огородах работают.

Встретили мы за деревней и невысокие зелёные могилы, где лежат те, что своё уже отсеяли и отработали.

Попалось нам дерево, разбитое молнией. Наткнулись мы на табун лошадей, из которых каждая — хоть самому Будённому.

Увидали мы и попа в длинном чёрном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались ещё на свете чудаки-люди.

Потом забеспокоились мы, когда потемнело небо. Сбежались отовсюду облака. Окружили они, поймали и закрыли солнце. Но оно упрямо вырывалось то в одну, то в другую дыру. Наконец вырвалось и засверкало над огромной землёй ещё горячее и ярче.

Далеко позади остался наш серый домик с деревянной крышей.

И Маруся, должно быть, давно уже вернулась. Поглядела — нет. Поискала — не нашла. Сидит и ждёт, глупая!

— Папа! — сказала наконец уставшая Светлана. — Давай с тобой где-нибудь сядем и что-нибудь поедим.

Стали искать и нашли мы такую полянку, какая не каждому попадётся на свете.

С шумом распахнулись перед нами пышные ветки дикого орешника. Встала остриём к небу молодая серебристая ёлка. И тысячами, ярче, чем флаги в Первое мая — синие, красные, голубые, лиловые — окружали ёлку душистые цветы и стояли не шелохнувшись.

Даже птицы не пели над той поляной — так было тихо.

Только серая дура-ворона бухнулась с лёту на ветку, огляделась, что не туда попала, каркнула от удивления: «Карр... карр...» — и сейчас же улетела прочь к своим поганым мусорным ямам.

— Садись, Светлана, стереги сумку, а я схожу и наберу в фляжку воды. Да не бойся: здесь живёт всего только один зверь — длинноухий заяц.

— Даже тысячи зайцев я и то не боюсь, — смело ответила Светлана, — но ты приходи поскорее всё-таки.

Вода оказалась не близко, и, возвращаясь, я уже беспокоился о Светлане.

Но она не испугалась и не плакала, а пела.

Я спрятался за кустом и увидел, что рыжеволосая толстая Светлана стояла перед цветами, которые поднимались ей до плеч, и с воодушевлением распевала такую только что сочинённую песню:

Гей!.. Гей!..  
Мы не разбивали голубой чашки.  
Нет!.. Нет!..  
В поле ходит сторож полей.  
Но мы не лезли за морковкой в огород.  
И я не лазила, и он не лез.  
А Санька один раз в огород лез.  
Гей!.. Гей!..  
В поле ходит Красная Армия.  
(Это она пришла из города).  
Красная Армия — самая красная,  
А белая армия — самая белая.  
Тру-ру-ру! Тра-та-та!  
Это барабанщики,  
Это лётчики,  
Это барабанщики летят на самолётах.  
И я, барабанщица... здесь стою.

Молча и торжественно выслушали эту песню высокие цветы и тихо закивали Светлане своими пышными головками.

— Ко мне, барабанщица! — крикнул я, раздвигая кусты. — Есть холодная вода, красные яблоки, белый хлеб и жёлтые пряники. За хорошую песню ничего не жалко.

Чуть-чуть смутилась Светлана. Укоризненно качнула головой и, совсем как Маруся прищутив глаза, сказала:

— Спрятался и подслушивает. Стыдно, дорогой товарищ!

Вдруг Светлана притихла и задумалась.

А тут ещё, пока мы ели, вдруг спустился на ветку серый чиж и что-то такое зачирикал.

Это был смелый чиж. Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал.

— Это знакомый чиж, — твердо решила Светлана. —

Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фюты!.. Фюты!.. И зачем он к нам прилетел так далеко?

— Нет! Нет! — решительно ответил я. — Это совсем другой чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые выдрала ему хозяйкина одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом.

— Нет, тот самый! — упрямо повторила Светлана. — Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко.

— Гей, гей! — печальным басом пропел я. — Но мы не разбивали голубой чашки. И мы решили уйти совсем далеко.

Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала:

— У тебя не такой голос. И люди так не поют. А только медведи.

Молча собрались мы. Вышли из рощи. И вот, мне на счастье, засверкала под горой прохладная голубая река.

И тогда я поднял Светлану. И когда она увидела песчаный берег, зелёные острова, то позабыла всё на свете и, радостно захлопав в ладоши, закричала:

— Купаться! Купаться! Купаться!

Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга.

Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника. Возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото.

Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жёрдочкам, прыгали с кочки на кочку. Промокли, измазались, но выбраться не могли никак.

А где-то совсем неподалёку за кустами ворочалось и мычало стадо, щёлкал кнутом пастух и сердито лаяла почуявшая нас собачонка. Но мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого кустарника и осоки.

Уже тревога выступила на веснушчатом лице при-

тихшей Светланки. Чаще и чаще она оборачивалась, заглядывала мне в лицо с молчаливым упреком: «Что же это, папка? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо!».

— Стой здесь, и не сходи с места! — приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли.

Я завернул в чашу, но и в той стороне оказалась только переплетённая жирными болотными цветами зелёная жижа.

Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу.

— Стой, где поставили! — резко сказал я.

Светлана остановилась. Глаза её замигали, и губы дёрнулись.

— Что же ты кричишь? — дрогнувшим голосом тихо спросила она. — Я босая, а там лягушки — и мне страшно.

И очень жалко стало мне тогда попавшую из-за меня в беду Светланку.

— На, возьми палку, — крикнул я, — и бей их, негодных лягушек, по чему попало! Только стой на месте! Сейчас переберёмся.

Я опять свернул в чашу и рассердился. Что это? Разве сравнить это поганое болотце с бескрайними камышами широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ахтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангельский десант.

С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз — и по пояс в воду. Два — и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно. Тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Вот и опора. Вот ещё одна лужа. И вот он и сухой берег. И, раздвинув тростник, я очутился возле испуганно подскочившей козы.

— Эге-гей! Светлана! — закричал я. — Ты стоишь?

— Эге-гей! — тихо донесся из чащи жалобный тоненький голос. — Я сто-о-ю!

Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и, пока она сохла на раскалённом песке, мы купались.



И все рыбы с ужасом умчались прочь, в свою глубокую глубину, когда мы с хохотом взбивали сверкающие пенистые водопады.

И чёрный усатый рак, которого я вытащил из его подводной страны, ворочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал: должно быть, впервые увидел такое нестерпимо яркое солнце и такую нестерпимо рыжую девчонку. И тогда, изловчившись, он злобно хватил Светлану за палец.

С криком отбросила его Светлана в самую середину гусяного стада. Шарахнулись в стороны глупые толстые гусята.

Но подошёл сбоку старый серый гусь. Много он видел и пострашней на свете. Скосил он голову, посмотрел одним глазом, клюнул — тут ему, раку, и смерть пришла.

...Но вот выкупались, обсохли, оделись и пошли дальше.

И опять нам всякого по пути попадалось немало: и люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь — ёж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студёный ручей.

Фыркнул ёж и поплыл на другой берег. «Вот, — думает, — безобразники! Поищи-ка теперь отсюда свою нору».

И вышли мы наконец к озеру.

Здесь-то и кончалось самое далёкое поле колхоза «Рассвет», а на том берегу уже расстилались земли «Красной зари».

Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь живёт дочь сторожа Валентина и её сын Фёдор.

Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы — подсолнухи.

На крыльце, в саду, стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и её отец, сторож. Ворот голубой кофты был распахнут. В одной руке она держала половую шётку, а в другой — мокрую тряпку.

— Фёдор! — строго кричала она. — Ты куда, негодник, серую кастрюлю задевал?

— Во-на! — раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Фёдор показал на лужу, где плавала гружённая щепками и травой кастрюля.

— А куда, бесстыдник, решето спрятал?

— Во-на! — всё так же важно ответил Фёдор и показал на придавленное решето, под которым что-то ворочалось.

— Вот погоди, атаман!.. Придешь домой, я тебя мокрой тряпкой приглажу, — пригрозила Валентина и, увидав нас, одёрнула подоткнутую юбку.

— Здравствуйте! — сказал я. — Вам отец шлёт поклон.

— Спасибо, — отозвалась Валентина. — Заходите в сад, отдохните.

Мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблоней.

Толстый сын Фёдор был только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве.

— Я малину ем, — серьёзно сообщил нам Фёдор. — Два куста объел. И еще буду.

— Ешь на здоровье, — пожелал я. — Только смотри, друг, не лопни.

Фёдор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, вперевалку пошёл к дому.

Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светлана уснула. Я повернулся к ней и увидел, что она все не спит, а, затаив дыхание, смотрит на серебристую бабочку, которая тихонько ползёт по рукаву её розового платья.

И вдруг раздался мощный рокочущий гул, воздух задрожал, и блестящий самолет, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь.

Вздрогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с збора жёлтый петух, с криком промелькнула поперёк неба испуганная галка — и всё стихло.

— Это тот самый лётчик пролетел, — с досадой сказала Светлана, — это тот, который приходил к нам вчера.

— Почему же тот? — приподнимая голову, спросил я. — Может быть, это совсем другой.

— Нет, тот самый. Я сама слышала, как он сказал маме, что он улетает завтра далеко и навсегда. Я ела красный помидор, а мама ему ответила: «Ну, прощайте. Счастливый путь»... Папка, — усаживаясь мне на живот, попросила Светлана, — расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как всё было, когда меня ещё не было.

— Как было? Да всё так же и было. Сначала день, потом ночь, потом опять день, и ещё ночь...

— И ещё тысячу дней! — нетерпеливо перебила Светлана. — Ну, вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься...

— Ладно, расскажу, только ты слезь с меня на траву, а то мне рассказывать тяжело будет. Ну, слушай!..

Было тогда нашей Марусе семнадцать лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у неё давно уже не было, и осталась наша Маруся совсем одна...

— Что-то её жалко становится, — подвигаясь поближе, вставила Светлана. — Ну, рассказывай дальше.

— Накинула Маруся платок и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих и работниц. А буржуи, конечно, белым рады, и всюду в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей про своё горе...

— Что-то уже совсем жалко, — нетерпеливо перебила Светлана. — Ты, папка, до красных скорее рассказывай.

— Вышла тогда Маруся за город. Луна светила. Шумел ветер. И раскинулась перед Марусей широкая степь...

— С волками?

— Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались. И подумала Маруся: «Убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная Армия товарища Ворошилова. Он, говорят, очень храбрый. И если попросить, то, может быть, и поможет».

А того не знала глупая Маруся, что не ждёт никогда Красная Армия, чтобы её просили. А сама она мчится на помощь туда, где напали белые. И уже близко от

Маруси подвигаются по степи наши красноармейские отряды. И каждая винтовка заряжена на пять патронов, а каждый пулемет — на двести пятьдесят.

Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень и сразу — за бугор. «Ага! — думаю. — Стой: белый разведчик. Дальше не уйдёшь никуда». Ударил я коня шпорами. Выскочил за бугор. Гляжу — что за чудо: нет белого разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развеваются.

Соскочил я с коня, а наган на всякий случай в руке держу. Подошёл и спрашиваю: «Кто ты и зачем в полночь по степи бегаешь?»

А луна вышла большая, большущая! Увидала девчонка на моей папаше красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала.

Вот тут-то мы с ней, с Марусей, и познакомились. А под утро из города белых мы выбили. Тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили.

Вот лежу я днем в лазарете. Грудь у меня немного прострелена. И плечо болит: когда с коня падал, о камень ударился.

Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит:

«Ну, прощай, уходим мы дальше за белыми. На тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги, лежи спокойно и скорее выздоравливай».

Вот и день прошел. Здравствуй, вечер! И грудь болит, и плечо ноет. И на сердце скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть, без товарищей!

Вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно вошла на носках Маруся! И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул.

А Маруся подошла, села рядом и положила руку на мою совсем горячую голову и говорит:

«Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?»

А я говорю:

«Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?»

«Ты спи, — ответила Маруся. — Спи крепко. Я около тебя все дни буду».

Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уж всегда жили вместе.

— Папка, — взволнованно спросила тогда Светлана. — Это ведь мы не по правде ушли из дома? Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придём.

— Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя ещё любит, а меня уже нет.

— Ой, врѐ-ёшь! — покачала головой Светлана. — Я вчера ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит.

— Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит! Есть глаза, вот и смотрит.

— Ой, нет! — убежденно возразила Светлана. — Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот как...

Тут Светлана вздёрнула тоненькие брови, склонила набок голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходящего мимо петуха.

— А когда любят, смотрят не так.

Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый Марусин взгляд упал мне на лицо.

— Разбойница! — подхватывая Светлану, крикнул я. — А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?

— Ну, тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнанные смотрят всегда сердито.

Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся как-нибудь разбила. Но мы её простили. Мало ли кто на кого понапрасну подумает? Однажды и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал тоже. И я пошёл к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе.

— Сейчас муж на станцию поедет, — сказала Валентина. — Он вас доведёт до самой мельницы, а там уже и недалеко.

Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущённую Светлану.

— Папа, — таинственным шёпотом сообщила она, — этот сын Фёдор вылез из малины и гянет из твоего мешка пряники.

Мы пошли к яблоне, но хитрый сын Фёдор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов.

— Фёдор! — позвал я. — Иди сюда, не бойся.

Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Фёдор решительно удаляется прочь.

— Фёдор! — повторил я. — Иди сюда. Я тебе все пряники отдам.

Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжелое сопение.

— Я стою, — раздался наконец сердитый голос, — тут без штанов, везде крапива.

Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Федора и высыпал перед ним все остатки из мешка.

Он неторопливо подобрал все в подол рубашки и, не сказав даже «спасибо», направился в другой конец сада.

— Ишь, какой важный, — неодобрительно заметила Светлана, — снял штаны и ходит как баран!

К дому подкатила запряжённая парой телега. На крыльцо вышла Валентина.

— Собирайтесь, кони хорошие — домчат быстро.

Опять показался Фёдор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, тащил за шиворот хорошенького дымчатого котёнка. Должно быть, котёнок привык к таким ухваткам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только нетерпеливо вертел пушистым хвостом.

— Нá! — сказал Фёдор и сунул котёнка Светлане.

— Насовсем? — обрадовалась Светлана и нерешительно взглянула на меня.

— Берите, берите, если надо, — предложила Валентина. — У нас этого добра много. Фёдор! А ты зачем пряники в капустные грядки спрятал? Я через окно всё видела.

— Сейчас пойду ещё дальше спрячу, — успокоил её Фёдор и ушёл вперевалку, как важный косолапый медвежонок.

— Весь в деда, — улынулась Валентина. — Этакий здоровила. А всего четыре года.

...Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но весёлые люди.

Прогрохотал в гараж колхозный грузовик.

Пропела в поле военная труба.

Звякнул в деревне сигнальный колокол.

Загудел за лесом тяжёлый-тяжёлый паровоз. Туу!.. Ту!.. Крутитесь, колёса, торопитесь, вагоны, дорога железная, длинная, далёкая.

И, крепко прижимая пушистого котёнка, под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песню:

Чики-чики!  
Ходят мыши,  
Ходят с хвостами,  
Очень злые.  
Лезут всюду,  
Лезут на полку.  
Трах-тарарах!  
И летит чашка,  
А кто виноват?  
Ну, никто не виноват.  
Только мыши из чёрных дыр.  
— Здравствуйте, мыши!  
Мы вернулись.  
И что же такое  
С собой несём?..  
Оно мяукает,  
Оно прыгает  
И пьёт из блюдечка молоко.  
Теперь убирайтесь  
В чёрные дыры,  
Или оно вас разорвёт  
На куски,  
На десять кусков,  
На двадцать кусков,  
На сто миллионов  
Лохматых кусков.

Возле мельницы мы спрыгнули с телеги.

Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и ещё кто-то играли в чижа.

— Ты не жульничай! — кричал Берте возмущённый Санька. — То на меня говорили, а то сами нашагивают.

— Кто-то там опять нашагивает, — объяснила Светлана, — должно быть, сейчас снова поругаются. — И, вздохнув, она добавила: — Такая уж игра!

С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх.

Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились.

Ни дырявого забора, ни высокого крыльца ещё не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и над ней с весёлым жужжанием крутилась наша роскошная сверкающая вертушка.

— Это мамка сама на крышу лазила! — взвизгнула Светлана и рванула меня вперёд.

Мы вышли на горку.

Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо. И на нём, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу, стояла и улыбалась наша Маруся.

— Смейся, смейся! — разрешила ей подбежавшая Светлана. — Мы тебя все равно уже простили.

Подошел и я, посмотрел Марусе в лицо.

Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго, наконец-то дождалась и теперь крепко рада.

«Нет, — твёрдо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки. — Это всё только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».

...А потом был вечер. И луна и звёзды.

Долго втроем сидели мы в саду под спелой вишней, и Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела.

А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно, до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала её спать.



— Ну что?! — забирая с собой сонного котёнка, спросила меня хитрая Светланка. — А разве теперь у нас жизнь плохая?

Поднялись и мы.

Золотая луна сияла над нашим садом.

Прогремел на север далёкий поезд.

Прогудел и скрылся в тучах полуночный лётчик.

А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!



## ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ

### 1

Зимою очень скучно. Разъезд маленький. Кругом лес. Заметёт зимою, завалит снегом — и высунуться некуда.

Одно только развлечение — с горы кататься. Но опять, не весь же день с горы кататься. Ну прокатился раз, ну прокатился другой, ну двадцать раз прокатился, а потом всё-таки надоест, да и устанешь. Кабы они, санки, и на гору сами вкатывались. А то с горы катятся, а на гору — никак.

Ребят на разъезде мало: у сторожа на переезде — Васька, у машиниста — Петька, у телеграфиста — Серёжка. Остальные ребята — вовсе мелкота: одному три года, другому четыре. Какие же это товарищи?

Петька да Васька дружили. А Серёжка вредный был. Дратся любил.

Позовёт он Петьку:

— Иди сюда, Петька. Я тебе американский фокус покажу.

А Петька не идёт. Опасается:

— Ты в прошлый раз тоже говорил — фокус. А сам по шее два раза стукнул.

— Ну, так то простой фокус, а это американский без стуканья. Иди скорей, смотри, как оно у меня прыгает.

Видит Петька, действительно что-то в руке у Серёжки прыгает. Как не подойти!

А Серёжка — мастер. Накрутит на палочку нитку, резинку. Вот у него и скачет на ладони какая-то штуковина, не то свинья, не то рыба.

— Хороший фокус?

— Хороший.

— Сейчас ещё лучше покажу. Повернись спиной.

Только повернётся Петька, а Серёжка его сзади как дёрнет коленом, так Петька сразу головой в сугроб.

Вот тебе и американский...

Попадало и Ваське тоже. Однако когда Васька и Петька играли вдвоём, то Серёжка их не трогал. Ого! Тронь только! Вдвоём-то они и сами храбрые.

Заболело однажды у Васьки горло, и не позволили ему на улицу выходить.

Мать к соседке ушла, отец — на переезд, встречать скорый поезд. Тихо дома.

Сидит Васька и думает: что бы это такое интересное сделать? Или фокус какой-нибудь? Или тоже какую-нибудь штуковину? Походил, походил из угла в угол — нет ничего интересного.

Подставил стул к шкапу. Открыл дверцу. Заглянул на верхнюю полку, где стояла завязанная банка с мёдом, и потыкал её пальцем.

Конечно, хорошо бы развязать банку да зачерпнуть мёду столовой ложкой...

Однако он вздохнул и слез, потому что уже заранее знал, что такой фокус матери не понравится. Сел он к окну и стал поджидать, когда промчится скорый поезд.

Жаль только, что никогда не успеешь рассмотреть, что там, внутри скорого, делается.

Заревёт, разбрасывая искры. Прогрохочет так, что вздрогнут стены и задребезжит посуда на полках. Сверкнёт яркими огнями. Как тени, промелькнут в окнах чьи-то лица, цветы на белых столиках большого вагон-ресторана. Блеснут золотом тяжёлые жёлтые ручки, разноцветные стёкла. Пронесётся белый колпак повара. Вот тебе и нет уже ничего. Только чуть виден сигнальный фонарь позади последнего вагона.

И никогда, ни разу не останавливался скорый на их маленьком разъезде. Всегда торопится, мчится в какую-то очень далёкую страну — Сибирь.

И в Сибирь мчится и из Сибири мчится. Очень, очень беспокойная жизнь у этого скорого поезда.

Сидит Васька у окна и вдруг видит, что идёт по дороге Петька, как-то по-необыкновенному важно, а под мышкой какой-то свёрток тащит. Ну, настоящий техник или дорожный мастер с портфелем.

Очень удивился Васька. Хотел в форточку крикнуть: «Куда это ты, Петька, идёшь? И что там у тебя в бумаге завёрнуто?»

Но только он открыл форточку, как пришла мать и заругалась, зачем он с большим горлом на морозный воздух лезет.

Тут с рёвом и грохотом промчался скорый. Потом сели обедать, и забыл Васька про странное Петькино хождение.

Однако на другой день видит он, что опять, как вчера, идёт Петька по дороге и несёт что-то завёрнутое в газету. А лицо такое важное, ну прямо как дежурный на большой станции.

Забарабанил Васька кулаком по раме, да мать прикрикнула.

Так и прошёл Петька мимо, своей дорогой.

Любопытно стало Ваське: что это с Петькой случилось? То, бывало, он целыми днями или собак гоняет, или над маленькими командует, или от Серёжки улепётывает, а тут идёт важный, и лицо что-то уж очень гордое.

Вот Васька откашлялся потихоньку и говорит спокойным голосом:

— А у меня, мама, горло перестало болеть.

— Ну и хорошо, что перестало.

— Совсем перестало. Ну даже нисколько не болит. Скоро и мне гулять можно будет.

— Скоро можно, а сегодня сиди, — ответила мать, — ты ведь ещё утром похрипывал.

— Так то утром, а сейчас уже вечер, — возразил Васька, придумывая, как бы попасть на улицу.

Он походил молча, выпил воды и тихонько запел песню. Он запел ту, которую слышал летом от приезжих комсомольцев, о том, как под частыми разрывами гремучих гранат очень геройски сражался отряд коммунаров. Собственно, петь ему не хотелось, и пел он с тайной мыслью, что мать, услышав его пение, поверит в то, что горло у него уже не болит, и отпустит на улицу.

Но так как занятая на кухне мать не обращала на него внимания, то он запел погромче о том, как коммунары попали в плен к злобному генералу и какие он готовил им мученья.

Когда и это не помогло, он во весь голос запел о том, как коммунары, не испугавшись обещанных мучений, начали копать глубокую могилу.

Пел он не то чтобы очень хорошо, но зато очень громко, и так как мать молчала, то Васька решил, что ей понравилось пение и, вероятно, она сейчас же отпустит его на улицу.

Но едва только он подошёл к самому торжественному моменту, когда окончившие свою работу коммунары дружно принялись обличать проклятого генерала, как мать перестала громыхать посудой и просунула в дверь рассерженное и удивлённое лицо.

— И что ты, идол, разорался? — закричала она. — Я слушаю, слушаю... Думаю, или он с ума спятил? Орёт, как Марьин козёл, когда заблудится!

Обидно стало Ваське, и он замолчал. И не то обидно, что мать сравнила его с Марьиным козлом, а то, что понапрасну он только старался и на улицу его всё равно сегодня не пустят.

Насупившись, он забрался на тёплую печку. Положил под голову овчинный полушубок и под ровное мурлыканье рыжего кота Ивана Ивановича задумался над своей печальной судьбой.

Скучно! Школы нет. Пионеров нет. Скорый поезд

не останавливается. Зима не проходит. Скучно! Хоть бы лето скорей наступило! Летом — рыба, малина, грибы, орехи.

И Васька вспомнил о том, как однажды летом, всем на удивление, он поймал на удочку здорового окуня.

Дело было к ночи, и он положил окуня в сени, чтобы утром подарить его матери. А за ночь в сени прокрался негодный Иван Иванович и сожрал окуня, оставив только голову да хвост.

Вспомнив об этом, Васька с досадой ткнул Ивана Ивановича кулаком и сказал сердито:

— В другой раз за такие дела голову сверну!

Рыжий кот испуганно подпрыгнул, сердито мяукнул и лениво спрыгнул с печки. А Васька полежал-полежал да и уснул.

На другой день горло прошло, и Ваську отпустили на улицу. За ночь наступила оттепель. С крыш свесились толстые острые сосульки. Подул влажный, мягкий ветер. Весна была недалеко.

Хотел Васька бежать разыскивать Петьку, а Петька и сам навстречу идёт.

— И куда ты, Петька, ходишь? — спросил Васька. — И почему ты, Петька, ко мне ни разу не зашёл? Когда у тебя заболел живот, то я к тебе зашёл, а когда у меня горло, то ты не зашёл.

— Я заходил, — ответил Петька. — Я подошёл к дому да вспомнил, что мы с тобой недавно ваше ведро в колодце утопили. Ну, думаю, сейчас Васькина мать меня ругать начнёт. Постоял, постоял да и раздумал заходить.

— Эх, ты! Да она уже давно отругалась и позабыла, а ведро батька из колодца ещё позавчера достал. Ты вперед обязательно заходи... Что это за штукавина у тебя в газету завёрнута?

— Это не штукавина. Это книги. Одна книга для чтения, другая книга — арифметика. Я уже третий день с ними хожу к Ивану Михайловичу. Читать-то я умею, а писать нет и арифметику нет. Вот он меня и учит. Хочешь, я тебе сейчас задам арифметику? Ну вот, ловили мы с тобой рыбу. Я поймал десять рыб, а ты три рыбы. Сколько мы вместе поймали?

— Что же это я как мало поймал? — обиделся Васька. — Ты десять, а я три. А помнишь, какого оку-

ня я в прошлое лето выудил? Тебе такого и не выудить.

— Так ведь это же арифметика, Васька!

— Ну и что ж, что арифметика? Всё равно мало. Я три, а он десять! У меня на удилище поплавок настоящий, а у тебя пробка, да и удилище-то у тебя кривое...

— Кривое? Вот так сказал! Отчего же это оно кривое? Просто скривилось немного, так я его уже давно выпрямил. Ну ладно, я поймал десять рыб, а ты семь.

— Почему же это я семь?

— Как — почему? Ну, не клюёт больше, вот и всё.

— У меня не клюёт, а у тебя почему-то клюёт? Очень какая-то дурацкая арифметика.

— Экий ты, право! — вздохнул Петька. — Ну, пускай я десять рыб поймал и ты десять. Сколько всего будет?

— А много, пожалуй, будет, — ответил, подумав, Васька.

— «Много»! Разве так считают? Двадцать будет, вот сколько. Я теперь каждый день к Ивану Михайловичу ходить буду, он меня и арифметике научит и писать научит. А то что! Школы нет, так неучёным дураком сидеть, что ли...

Обиделся Васька.

— Когда ты, Петька, за грушами лазил да упал и руку свихнул, то я тебе домой из лесу свежих орехов принёс, да две железные гайки, да живого ежа. А когда у меня горло заболело, то ты без меня живо к Ивану Михайловичу пристроился! Ты, значит, будешь учёный, а я просто так? А ещё товарищ...

Почувствовал Петька, что Васька правду говорит, и про орехи и про ежа. Покраснел он, отвернулся и замолчал.

Так помолчали они, постояли. И хотели уже разойтись поссорившись. Да только вечер был уж очень хороший, тёплый. И весна была близко, и по улицам маленькие ребятки дружно плясали возле рыхлой снежной бабы...

— Давай ребятишкам из санок поезд сделаем, — неожиданно предложил Петька. — Я буду паровозом, ты — машинистом, а они — пассажирами. А завтра

пойдём вместе к Ивану Михайловичу и попросим. Он добрый, он и тебя гоже научит. Хорошо, Васька?

— Ещё бы плохо!

Так и не поссорились ребята, а ещё крепче подружились. Весь вечер играли и катались с маленькими. А утром отправились к доброму человеку, к Ивану Михайловичу.

## 2

Васька с Петькой шли на урок. Вредный Серёжка выскочил из-за калитки и заорал:

— Эй, Васька! А ну-ка сосчитай. Сначала я тебе три раза по шее стукну, а потом ещё пять, сколько это всего будет?

— Пойдём, Петька, поколотим его, — предложил обидевшийся Васька. — Ты один раз стукнешь, да я один раз. Вдвоём мы справимся. Стукнем по разу, да и пойдём.

— А потом он нас поодиночке поймает да вздует, — ответил более осторожный Петька.

— А мы не будем поодиночке, мы будем всегда вместе. Ты вместе, и я вместе. Давай, Петька, стукнем по разу, да и пойдём.

— Не надо, — отказался Петька. — А то во время драки книжки изорвать можно. Лето будет, тогда мы ему зададим. И чтоб не дразнился, и чтоб из нашей нырётки рыбы не вытаскивал.

— Всё равно будет вытаскивать! — вздохнул Васька.

— Не будет. Мы в такое место нырётку закинем, что он никак не найдёт.

— Найдёт, — уныло возразил Васька. — Он хитрый, да и «кошка» у него хитрая, острая.

— Что ж, что хитрый. Мы и сами теперь хитрые! Тебе уже восемь лет и мне восемь — значит, вдвоём нам сколько?

— Шестнадцать, — сосчитал Васька.

— Ну вот, нам шестнадцать, а ему девять. Значит, мы хитрее.

— Почему же шестнадцать хитрей, чем девять? — удивился Васька.

— Обязательно хитрей. Чем человек старей, тем он хитрей. Возьми-ка ты Павлика Припрыгина. Ему четы-



ре года — какая же у него хитрость? У него что хочешь выпросить или стянуть можно. А возьми-ка ты хуторского Данилу Егоровича. Ему пятьдесят лет, и хитрей его не найдёшь. На него налогу двести пудов наложили, а он поставил мужикам водки, они ему спьяну-то какую-то бумагу и подписали. Пошёл он с этой бумагой в район, ему полтора ста пудов и скостили.

— А люди не так говорят, — перебил Васька. — Люди говорят, что он хитрый не оттого, что старый, а оттого, что кулак. Как по-твоему, Петька, что это такое кулак? Почему один человек — как человек, а другой человек — как кулак?

— Богатый, вот и кулак. Ты вот бедный, так ты и не кулак. А Данила Егорович кулак.

— Почему же это я бедный? — удивился Васька. — У нас батька сто двенадцать рублей получает. У нас поросёнок есть, да коза, да четыре курицы. Какие же мы бедные? У нас отец рабочий человек, а не какой-нибудь вроде пропащего Епифана, который Христа ради побирается.

— Ну, пусть ты не бедный. Так у тебя отец сам работает, и у меня сам, и у всех сам. А у Данилы Егоровича на огороде летом четыре девки работали, да ещё какой-то племянник приезжал, да ещё какой-то будто бы свояк, да пьяный Ермолай сад сторожить занимался. Помнишь, как тебя Ермолай крапивой отжучил, когда мы за яблоками лазили? Ух, и орал ты тогда! А я сижу в кустах и думаю: вот здорово Васька орёт — не иначе, как Ермолай его крапивой жучит.

— Ты-то хорош! — нахмурился Васька. — Сам убежал, а меня оставил.

— Неужели дожидаться? — хладнокровно ответил Петька. — Я, брат, через забор, как тигр, перескочил. Он, Ермолай, успел меня всего только два раза хворостиной по спине протянуть. А ты копался, как индюк, вот тебе и попало.

...Давно когда-то Иван Михайлович был машинистом. До революции он был машинистом на простом паровозе. А когда пришла революция и началась гражданская война, то с простого паровоза перешёл Иван Михайлович на бронированный.

Петька и Васька много разных паровозов видели. Знали они и паровоз системы «С» — высокий, лёгкий.

быстрый, тот, что носится со скорым поездом в далёкую страну — Сибирь. Видали они и огромные трёхцилиндровые паровозы «М», те, что могли тянуть тяжёлые, длинные составы на крутые подъёмы, и неуклюжие маневровые «О», у которых и весь путь-то только от входного семафора до выходного. Всякие паровозы видали ребята. Но вот такого паровоза, какой был на фотографии у Ивана Михайловича, они не видали ещё никогда. И паровоза такого не видали и вагонов не видали тоже.

Трубы нет. Колёс не видно. Тяжёлые стальные окна у паровоза закрыты наглухо. Вместо окон — узкие продольные щели, из которых торчат пулемёты. Крыши нет. Вместо крыши — низкие круглые башни, и из тех башен выдвинулись тяжёлые жерла артиллерийских орудий.

И ничего у бронепоезда не блестит: нет ни начищенных жёлтых ручек, ни яркой окраски, ни светлых стёкол. Весь бронепоезд, тяжёлый, широкий, как будто бы прижавшийся к рельсам, выкрашен в серо-зелёный цвет.

И никого не видно: ни машиниста, ни кондукторов с фонарями, ни главного со свистком.

Где-то там, внутри, за щитом, за стальной обшивкой, возле массивных рычагов, возле пулемётов, возле орудий, насторожившись, притаились красноармейцы, но всё это закрыто, всё спрятано, всё молчит.

Молчит до поры до времени. Но вот прокрадётся без гудков, без свистков бронепоезд ночью туда, где близок враг, или вырвется на поле, туда, где идёт тяжёлый бой красных с белыми. Ах, как резанут тогда из тёмных щелей гибельные пулемёты! Ух как грохнут тогда из поворачивающихся башен залпы проснувшихся могучих орудий!

И вот однажды в бою ударил в упор очень тяжёлый снаряд по бронированному поезду. Прорвал снаряд обшивку и осколками оторвал руку военному машинисту Ивану Михайловичу.

С той поры Иван Михайлович уже не машинист. Получает он пенсию и живёт в городе у старшего сына — токаря в паровозных мастерских. А на разъезд он приезжает в гости к своей сестре. Есть такие люди, которые поговаривают, что Ивану Михайловичу не толь-

ко оторвало руку, но и зашибло снарядом голову, и что от этого он немного... ну, как бы сказать, не то что больной, а так, странный какой-то.

Однако ни Петька, ни Васька таким зловредным людям нисколько не верили, потому что Иван Михайлович был очень хороший человек. Одно только: курил Иван Михайлович уж очень много да чуть-чуть вздрагивали у него густые брови, когда рассказывал он что-нибудь интересное про прежние года, про тяжёлые войны, про то, как их белые начали да как их красные окончили.

А весна прорвалась как-то сразу. Что ни ночь — то тёплый дождик, что ни день — то яркое солнце. Снег таил быстро, как куски масла на сковороде.

Хлынули ручьи, взломало на Тихой речке лёд, распушилась верба, прилетели грачи и скворцы. И всё это разом. Пошёл всего десятый день, как нагрелась весна, а снегу уже нисколько, и грязь на дороге подсохла.

Вот однажды после урока, когда хотели ребята бежать на речку, чтобы посмотреть, намного ли спала вода, Иван Михайлович попросил:

— А что, ребята, не сбегаете ли в Алёшино? Мне бы Егору Михайловичу записку передать надо. Отнесите ему доверенность с запиской. Он за меня в городе пенсию получит и сюда привезёт.

— Мы сбегает, — живо ответил Васька. — Мы очень даже быстро сбегает, прямо как кавалерия.

— Мы знаем Егора — подтвердил Петька. — Это тот Егор, который председатель? У него ребята есть: Пашка да Машка. Мы в прошлом году с его ребятами в лесу малину собирали. Мы по целому лукошку набрали, а они чуть на доньшке, потому что малы ещё и никак вперёд нас не успеют.

— Вот к нему и сбегайте, — сказал Иван Михайлович. — Мы с ним старые друзья. Когда я на броневике машинистом был, он, Егор, ещё молодой тогда парнишка, кочегаром у меня работал. Когда прорвало снарядом обшивку и отхватило мне осколком руку, мы вместе были. После взрыва я ещё минуточку-другую в памяти оставался. Ну, думаю, пропало дело. Парнишка ещё несмышлёный, машину почти не знает. Один остался на паровозе. Разобьёт он и погубит весь броневик. Двинулся я, чтобы задний ход дать и машину из боя

вывести. А в это время от командира сигнал: «Полный вперед!» Оттолкнул меня Егор в угол на кучу обтирочной пакли, а сам как рванётся к рычагу: «Есть полный ход вперёд!» Тут закрыл я глаза и думаю: «Ну, пропал броневик». Очнулся, слышу — тихо. Бой окончился. Глянул — рука у меня рубахой перевязана. А сам Егорка полуголый... Весь мокрый, губы запеклись, на теле — ожоги. Стоит он и шатается — вот-вот упадёт. Целых два часа один в бою машиной управлял. И за кочегара, и за машиниста, и со мной возился за лекаря...

Брови Ивана Михайловича вздрогнули, он замолчал и покачал головой, то ли над чем задумавшись, то ли что-то припоминая. А ребята молча стояли, ожидая, не расскажет ли Иван Михайлович ещё чего-нибудь, и удивлялись очень, что Пашкин и Машкин отец, Егор, оказался таким героем, потому что он вовсе не был похож на тех героев, которых видели ребята на картинках, висевших в красном уголке на разъезде. Те герои рослые, и лица у них гордые, а в руках у них красные знамёна или сверкающие сабли. А Пашкин да Машкин отец был невысокий, лицо у него было в веснушках, глаза узкие, прищуренные. Носил он простую чёрную рубаху и серую клетчатую кепку. Одно только, что упрямый был и если уж что заладит, то так и не отстанет, пока своего не добьётся.

Об этом ребята и в Алёшине от мужиков слышали, и на разъезде слышали тоже.

Иван Михайлович написал записку, дал ребятам по лепёшке, чтобы в дороге не проголодались. И Васька с Петькой, сломав по хлыстику из налившегося соком раakitника, подхлестывая себя по ногам, дружным галопом понесли под горку.

### 3

Проезжей дорогой в Алёшино — девять километров, а прямой тропкой — всего пять.

Возле Тихой речки начинается густой лес. Этот лес без конца-края тянется куда-то очень далеко. В том лесу — озёра, в которых водятся крупные блестящие, как начищенная медь, караси, но туда ребята не ходят: далеко, да и заблудиться в болоте нетрудно. В том ле-

су много малины, грибов, орешника. В крутых оврагах, по руслу которых бежит из болота Тихая речка, по прямым скатам из ярко-красной глины водятся в норах ласточки. В кустарниках прячутся ежи, зайцы и другие безобидные зверюшки. Но дальше, за озёрами, в верховьях реки Синявки, куда зимою уезжают мужики рубить для сплава строевой лес, встречали лесорубы волков и однажды наткнулись на старого, облезлого медведя.

Во какой замечательный лес широко раскинулся в тех краях, где жили Петька и Васька!

И по этому, то по весёлому, то по угрюмому, лесу с пригорка на пригорок, через ложбинки, через жёрдочки поперёк ручьёв бодро бежали ближней тропкой посланные в Алёшино ребята.

Там, где тропка выходила на проезжую дорогу, в одном километре от Алёшина, стоял хутор богатого мужика Данилы Егоровича.

Здесь запыхавшиеся ребятишки остановились у колодца напиться.

Данила Егорович, который тут же поил двух сытых коней, спросил у ребят, откуда они да зачем бегут в Алёшино. И ребята охотно рассказали ему, кто они такие и какое у них в Алёшине дело до председателя Егора Михайловича.

Они поговорили бы с Данилой Егоровичем и подольше, потому что им было любопытно посмотреть на такого человека, про которого люди поговаривают, что он кулак, но тут они увидели, что со двора выходят к Даниле Егоровичу три алёшинских крестьянина, а позади них идёт хмурый и злой, вероятно с похмелья, Ермолай. Заметив Ермолая, того самого, который отжучил однажды Ваську крапивой, ребята двинулись от колодца рысью и вскоре очутились в Алёшине, на площади, где собрался народ для какого-то митинга.

Но ребята, не задерживаясь, побежали дальше, на окраину, решив на обратном пути от Егора Михайловича разузнать, почему народ и что это такое интересное затевается.

Однако дома у Егора они застали только его ребятишек — Пашку и Машку. Это были шестилетние близнецы, очень дружные между собой и очень похожие друг на друга.

Как и всегда, они играли вместе. Пашка строгал какие-то чурочки и планочки, а Машка мастерила из них на песке, как показалось ребятам, не то дом, не то колодец.

Впрочем, Машка объяснила им, что это не дом и не колодец, а сначала был трактор, теперь же будет аэроплан.

— Эх, вы! — сказал Васька, бесцеремонно тыкая в аэроплан ракиновым хлыстиком. — Эх, вы, глупый народ! Разве аэропланы из щепок делают? Их делают совсем из другого. Где ваш отец?

— Отец на собрание пошёл, — добродушно улыбаясь, ответил несколько не обидевшийся Пашка.

— Он на собрание пошёл, — поднимая на ребят голубые, чуть-чуть удивлённые глаза, подтвердила Машка.

— Он пошёл, а дома голько бабка лежит на печи и ругается, — добавил Пашка.

— А бабка лежит и ругается, — пояснила Машка. — И когда папанька уходил, она тоже ругалась. Чтобы, говорит, ты сквозь землю провалился со своим колхозом.

И Машка обеспокоенно посмотрела в ту сторону, где стояла изба и где лежала недобрая бабка, которая хотела, чтобы отец провалился сквозь землю.

— Он не провалится, — успокоил её Васька. — Куда же он провалится? Ну топни сама ногами о землю, и ты, Пашка, тоже топни. Да сильнее топайте! Ну вот, не провалились? А ну, ещё покрепче топайте.

И, заставив несмышлёных Пашку и Машку усердно топать, пока те не запыхались, довольные своей озорной выдумкой ребягишки отправились на площадь, где уже давно началось беспокойное собрание.

— Вот так дела! — сказал Петька, после того как потолкались они среди собравшегося народа.

— Интересные дела, — согласился Васька, усаживаясь на край толстого, пахнувшего смолою бревна и доставая из-за пазухи кусок лепёшки.

— Ты куда было пропал, Васька?

— Напиться бегал. И что это так разошлись мужики? Только и слышно: колхоз да колхоз. Одни ругают колхоз, другие говорят, что без колхоза никак нель-

зя. Мальчишки и то схватываются. Ты знаешь Фёдку Галкина? Ну, рябой такой.

— Знаю.

— Так вот. Я пить бегал и видел, как он сейчас с каким-то рыжим подрался. Тот, рыжий, выскочил да и запел: «Федька-колхоз — поросячий нос». А Федька рассердился на такое пение, и началась у них драка. Я уж тебя крикнуть хотел, чтобы ты посмотрел, как они дерутся. Да тут какая-то горбатая бабка гусей гнала и обоих мальчишек хворостиной огрела — ну, они и разбежались.

Васька посмотрел на солнце и забеспокоился:

— Пойдём, Петька, отдадим записку. Пока добежим домой, уж вечер будет. Как бы не попало дома.

Проталкиваясь через толпу, увёртливые ребята добрались до груды брёвен, возле которых за столом сидел Егор Михайлов.

Пока приезжий человек, забравшись на брёвна, объяснял крестьянам, какая выгода идти в колхоз, Егор негромко, но настойчиво убеждал в чём-то наклонившихся к нему двух членов сельсовета. Те покачивали головами, а Егор, по-видимому сердитый на них за их нерешительность, ещё упорней доказывал им что-то вполголоса, стыдил их.

Когда озабоченные члены сельсовета отошли от Егора, Петька молча сунул ему доверенность и записку.

Егор развернул бумажку, но не успел прочитать, потому что на сваленные брёвна влез новый человек, и в этом человеке ребята узнали одного из тех мужиков, с которыми они встретились у колодца на хуторе Данилы Егоровича. Мужик говорил, что колхоз — это, конечно, дело новое и что сразу всем в колхоз соваться нечего. Записались сейчас в колхоз десять хозяйств, ну и пусть работают. Ежели у них пойдёт дело, то и другим вступить не поздно будет, а если дело не пойдёт, тогда, значит, в колхоз идти нет расчёта и нужно работать по-старому.

Он говорил долго, и, пока он говорил, Егор Михайлов всё ещё держал развёрнутую записку не читая. Он щурил узкие рассерженные глаза и, насторожившись, внимательно вглядывался в лица слушающих крестьян.

— Подкулачник! — с ненавистью сказал он, теребя пальцами сунутую ему записку.

Тогда Васька, опасаясь, как бы Егор нечаянно не скомкал доверенность Ивана Михайловича, тихонько дёрнул председателя за рукав:

— Дяденька Егор, прочти, пожалуйста. А то нам домой бежать надо.

Егор быстро прочитал записку и сказал ребятам, что всё сделает, что в город он поедет как раз через неделю, а до тех пор обязательно сам зайдёт к Ивану Михайловичу. Он хотел ещё что-то добавить, но тут мужик окончил свою речь, и Егор, сжимая в руке свою клетчатую кепку, вскочил на брёвна и начал говорить быстро и резко.

А ребята, выбравшись из толпы, помчались по дороге на разъезд.

Пробегая мимо хутора, они не заметили ни Ермолая, ни свояка, ни племянника, ни хозяйки — должно быть, все были на собрании. Но сам Данила Егорович был дома. Он сидел на крыльце, курил старую, кривую трубку, на которой была вырезана чья-то смеющаяся рожа, и казалось, что он был единственным человеком в Алёшине, которого не смущало, не радовало и не задевало новое слово — колхоз.

Пробегая берегом Тихой речки через кусты, ребята услышали всплеск, как будто кто-то бросил в воду тяжёлый камень.

Осторожно подкравшись, они увидели Серёжку, который стоял на берегу и смотрел туда, откуда по воде расплывались ровные круги.

— Нырётку забросил, — догадались ребята и, хитро переглянувшись, тихонько поползли назад, запоминая на ходу это место.

Они выбрались на тропку и, обрадованные необыкновенной удачей, ещё быстрее припустились к дому, тем более что слышно было, как загрохотало по лесу эхо от скорого поезда: значит, было уже пять часов. Значит, Васькин отец, свернув зелёный флаг, входил уже в дом, а Васькина мать уже доставала из печи горячий обеденный горшок.

Дома тоже зашёл разговор про колхоз. А разговор начался с того, что мать, уже целый год откладывавшая деньги на покупку коровы, ещё с зимы посмотре-



ла у Данилы Егоровича годовалую тёлку и к лету надеялась выкупить её и пустить в стадо. Теперь же, прослышав про то, что в колхоз будут принимать только тех, кто перед вступлением не будет резать или продавать на сторону скотину, мать забеспокоилась о том, что, вступая в колхоз, Данила Егорович отведёт туда тёлку, и тогда ищи другую, а где её такую найдёшь?

Но отец был человек толковый, он читал каждый день железнодорожную газету «Гудок» и понимал, что к чему идёт.

Он засмеялся над матерью и объяснил ей, что Данилу Егоровича ни с тёлкой, ни без тёлки к колхозу и на сто шагов подпускать не полагается, потому что он кулак. А колхозы — они на то и создаются, чтобы можно было жить без кулаков. И что, когда в колхоз войдёт всё село, тогда и Даниле Егоровичу, и мельнику Петунину, и Семёну Загребину придёт крышка, то есть рушатся все их кулацкие хозяйства.

Однако мать напомнила о том, как с Данилы Егоровича в прошлом году списали полтора пуда налога, как его побаиваются мужики и как почему-то всё выходит так, как ему нужно. И она сильно усомнилась в том, чтобы хозяйство у Данилы Егоровича рушилось, а даже, наоборот, высказала опасение, как бы не рушился сам колхоз, потому что Алёшино — деревня глухая, кругом лес да болота. Научиться по-колхозному работать не у кого и помощи от соседей ждать нечего.

Отец покраснел и сказал, что с налогом — это дело тёмное и не иначе, как Данила Егорович кому-то очки втёр да кого-то обжулил, а ему не каждый раз пройдёт, и что за такие дела недолго попасть куда следует. Но заодно он обругал и тех дураков из сельсовета, которым Данила Егорович скрутил голову, и сказал, что если бы это случилось теперь, когда председателем Егор Михайлов, то при нём такого безобразия не произошло бы.

Пока отец с матерью спорили, Васька съел два куска мяса, тарелку щей и будто нечаянно запихал в рот большой кусок сахара из сахарницы, которую мать поставила на стол, потому что отец сразу же после обеда любил выпить стакан-другой чаю.

Однако мать, не поверив в то, что он это сделал нечаянно, турнула его из-за стола, и он, захныкав больше по обычаю, чем от обиды, полез на тёплую печку к рыжему коту Ивану Ивановичу и, по обыкновению, очень скоро задремал.

То ли ему это приснилось, то ли он правда слышал сквозь дрёму, а только ему показалось, что отец рассказывал про какой-то новый завод, про какие-то постройки, про каких-то людей, которые ходят и чего-то ищут по оврагам и по лесу, и будто бы мать всё удивлялась, всё не верила, всё ахала да охала.

Потом, когда мать стщила его с печки, раздела и положила спать на лежанку, ему приснился настоящий сон: будто бы в лесу горит очень много огней, будто бы по Тихой речке плывёт большой, как в синих морях, пароход и ещё будто бы на том пароходе уплывает он с товарищем Петькой в очень далёкие и очень прекрасные страны...

#### 4

Дней через пять после того, как ребята бегали в Алёшино, после обеда, они украдкой направились к Тихой речке, чтобы посмотреть, не попалась ли в их нырётку рыба.

Добравшись до укромного места, они долго шарили по дну «кошкой», то есть маленьким якорем из выгнутых гвоздей. Чуть не оборвали бечеву, зацепивши крючьями за тяжёлую корягу. Вытащили на берег целую кучу скользких, пахнувших тиною водорослей. Однако нырётки не было.

— Её Серёжка утащил! — захныкал Васька. — Я тебе говорил, что он нас выследит. Вот он и выследил. Я тебе говорил: давай на другое место закинем, а ты не хотел.

— Так ведь это и есть уже другое место! — рассердился Петька. — Ты же сам это место выбрал, а теперь всё на меня сваливаешь. Да не хныкай ты, пожалуйста. Мне и самому жалко, а я не хныкаю.

Васька пригх, но ненадолго.

А Петька предложил:

— Помнишь, когда мы в Алёшино бежали, то Серёжку у речки возле обгорелого дуба видели? Пойдём

туда да пошарим. Может быть, его нырётку вытащим. Он — нашу, а мы — его. Пойдём, Васька. Да не хныкай ты, пожалуйста, — такой здоровый и толстый, а хныкает. Почему я никогда не хныкаю? Помнишь, когда меня сразу три пчелы за босую ногу ухватили, и то я не хныкал.

— Вот так не хныкал! — насупившись, ответил Васька. — Как заревел тогда, я даже лукошко с земляникой с перепугу выронил.

— Ничего не заревел. Ревут — это когда слёзы катятся, а я просто заорал, потому что испугался, да и больно. Поорал три секунды и перестал. А вовсе ни сколько не ревел и не хныкал. Бежим, Васька!

Добравшись до берега, что возле обгорелого дуба, они долго обшаривали дно.

Возились-возились, устали, забрызгались, но ни своей, ни Серёжиной нырётки не нашли.

Тогда, огорчённые, они уселись на бугорок под кустом распускающейся вербы и, посоветовавшись, решили с завтрашнего же дня начать за Серёжкой хитрую слежку, чтобы найти то место, куда он ходит перекидывать обе нырётки.

Чьи-то шаги, правда ещё далёкие, заставили ребятшек насторожиться, и они проворно нырнули в гущу куста.

Однако это был не Серёжка. По тропке из Алёшина неторопливо шли двое крестьян. Один — незнакомый и, кажется, не здешний. Другой — дядя Серафим, небогатый алёшинский мужик, на которого часто валились всякие несчастья: то у него лошадь околела, то у него рожь кони вытоптали, то у него крыша сарая обвалилась и задавила поросёнка да гусёнка. И так каждый год что-нибудь с дядей Серафимом случалось.

Был он крепко трудящимся, но неудачливым и запуганным неудачами мужиком.

Дядя Серафим нёс на разезд рыжие охотничьи сапоги, на которые он накладывал заплаты за два целковых, обещанных ему Васькиным отцом.

Оба мужика шли и ругали Данилу Егоровича. Ругал его тот, который был незнакомый, не алёшинский, а дядя Серафим слушал и уныло поддакивал.

За что незнакомый ругал Данилу Егоровича, этого ребята толком не поняли. Выходило как-то так, что

Данила Егорович что-то купил у мужика по дешёвой цене и обещал мужику уступить в долг три мешка овса, а когда мужик приехал, то Данила Егорович заломил такую цену, какой и в городе-то на базаре нет, и говорил, что это ещё божеская цена, потому что к сеvu овёс поднимется ещё вполонину.

Когда оба хмурых крестьянина прошли мимо, ребяташки выбрались из кустов и опять уселись на тёплый зеленеющий бугор. Вечерело. От речки потянуло сыростью и запахом прибрежного рацитника. Куковала кукушка, и в красных лучах солнца кружилась кучками мелкая, как пыль, бесшумная весенняя мошкара.

Но вот среди тишины, сначала далёкий и тихий, как жужжание пчелиного роя, послышался из-за розовых облаков странный гул.

Потом, оторвавшись от круглого толстого облака, сверкнула в небе светлая, как будто серебряная, точка. Она всё увеличивалась. Вот уже у неё обозначились две пары распластанных крыльев... Вот уже вспыхнули на крыльях две пятиконечные звёздочки...

И весь аэроплан, могучий и красивый, быстрее, чем самый быстрый паровоз, но легче, чем самый быстролётный степной орёл, с весёлым рокотом сильных моторов плавно пронёсся над тёмным лесом, над пустынным разъездом и над Тихой речкой, у берега которой сидели ребяташки.

— Далёко полегел! — тихо сказал Петька, не отрывая глаз от удаляющегося аэроплана.

— В дальние страны! — сказал Васька и вспомнил недавний хороший сон. — Они, аэропланы, всегда летают только в дальние. В ближние что? В ближние и на лошади можно доехать. Аэропланы — в дальние. Мы, когда вырастем, Петька, то тоже — в дальние. Там есть и города, и огромные заводы, и большущие вокзалы. А у нас нет.

— У нас нет, — согласился Петька. — У нас только один разъезд на Алёшино, да больше ничего...

Ребяташки замолчали и, удивлённые и обеспокоенные, подняли головы. Гул опять усиливался. Сильная стальная птица возвращалась, опускаясь всё ниже. Теперь уже были видны маленькие колёса и светлый, блестящий диск сверкающего на солнце пропеллера.

Точно играя, машина скользнула, накренясь на

левое крыло, завернула и сделала несколько широких кругов над лесом, над алёшинскими лугами, над Тихой речкой, на берегу которой стояли изумлённые и обрядованные мальчуганы.

— А ты... а ты говорил, только в дальние, — волнуясь и запинаясь, сказал Петька. — Разве же у нас дальние?

Машина опять взвилась кверху и вскоре исчезла, только изредка мелькая в просветах между толстыми розовыми тучами.

«И зачем он над нами кружился?» — думали ребята, торопливо пробираясь к разъезду, чтобы поскорей рассказать, что они видели.

Они были заняты догадками, зачем прилетал аэроплан и что он высматривал, и почти не обратили внимания на одинокий выстрел, глухо раздавшийся где-то далеко позади них.

Вернувшись домой, Васька ещё застал дядю Серафима, которого угощали чаем.

Дядя Серафим рассказывал про алёшинские дела. В колхоз пошло полдеревни. Вошло и его хозяйство. Остальная половина выжидала, что будет. Собрали паевые взносы и три тысячи на акции Трактороцентра. Но сеять будет в эту весну каждый на своей полосе, потому что земля колхозу к одному месту ещё не выделена.

Успели выделить только покос на левом берегу Тихой речки.

Однако и тут случилось неладное. У мельника Петунина прорвало плотину, и вода вся ушла, не разлившись по протокам левого берега. От этого трава должна быть плохая, погому что луга заливные и хороший урожай на них бывает только после большой воды.

— У Петунина прорвало? — недоверчиво переспросил отец. — Что это у него раньше не прорывало?

— А кто его знает, — уклончиво ответил дядя Серафим. — Может, вода прорвала, а может, и ещё как.

— Жулик этот Петунин, — сказал отец. — Что он, что Данила Егорович, что Семён Загребин — одна компания. Ну, как они, сердятся?

— Да как сказать, — ответил хмурый дядя Серафим. — Данила — тот ходит, как бы его не касается. Ваше, говорит, дело. Хотите — в колхоз, хотите — в

**совхоз.** Я тут ни при чём. Петунин — мельник — тот действительно озлобился. Скрывает, а видать, что озлобился. В колхозный луг и его участок попал. А какой у него участок? Ха-а-роший участок! Ну, а Загребин? Сам знаешь Загребина. У этого всё шуточки да прибауточки. Недавно по почте плакаты прислали и лозунги разные. Ну вот, сторож Бочаров пошёл их по деревне расклеивать. Где к забору, где к стене приклеит. Проходит он мимо избы Загребина и сомневается: вешать или не вешать? Как бы хозяин не заругался. А Загребин вышел из ворот и смеётся: «Что же не вешаешь? Эх ты, колхозная голова! Другим праздник, а мне будни, что ли?» Взял два самых больших плаката да и повесил.

— Ну, а Егор Михайлов как? — спросил отец.

— Егор Михайлов? — ответил дядя Серафим, отодвигая допитый стакан. — Егор — крепкий человек, да что-то про него много неладного болтают.

— Что болтают?

— Вот, к примеру, говорят, что когда он два года в отлучке был, то будто его откуда-то прогнали за плохие дела. Будто бы чуть под суд не отдали. То ли у него с деньгами что-то неладное вышло, то ли ещё как.

— Зря болтают, — уверенно возразил Васькин отец.

— Надо бы думать, что зря. А ещё болтают, — тут дядя Серафим покосился на Васькину мать и на Ваську, — будто бы в городе у него эта самая есть... ну, невеста, что ли, — добавил он после некоторой заминки.

— Ну и что же, что невеста? Пускай женится. Он вдовый. Пашке да Машке мать будет.

— Городская, — с усмешкой пояснил дядя Серафим. — Барышня там или ещё как. Ей богатого нужно, а у него какое жалованье?.. Ну, я пойду, — сказал дядя Серафим, поднимаясь. — Спасибо за угощение.

— Может быть, ночевать останешься? — предложили ему. — А то, гляди, темень какая. По просёлку идти придётся. Тропкой-то в лесу ещё заплутаешься.

— Не заплутаю, — отозвался дядя Серафим. — По этой тропке в двадцатом с партизанами ух сколько было исхожено!

Он нахлобучил потрёпанную соломенную шляпу с

большими обвислыми полями и, заглянув в окно, добавил:

— Эх, звёзд сколько повысыпало, да и луна скоро взойдёт — светло будет!

## 5

Ночи были ещё прохладные, но Васька, забрав старое ватное одеяло да остатки овчинного тулупа, перебрался спать на сеновал.

Ещё с вечера он условился с Петькой, что тот разбудит его пораньше и они пойдут ловить на червяка плотву.

Но когда проснулся, было уже поздно — часов девять, а Петьки не было. Очевидно, Петька и сам проспал.

Васька позавтракал жареной картошкой с луком, сунул в карман кусок хлеба, посыпанный сахарным песком, и побежал к Петьке, собираясь выругать его сонной и лодырем.

Однако дома Петьки не было. Васька зашёл в дровяной сарай — удилица были здесь. Но Ваську очень удивило то, что они не стояли в углу, на месте, а, точно наспех брошенные, кое-как, валялись посреди сарая. Тогда Васька вышел на улицу, чтобы расспросить у маленьких ребятишек, не видали ли они Петьки. На улице он встретил гольку одного четырёхлетнего Павлика Припрыгина, который упорно пытался сесть верхом на большую рыжую собаку. Но едва только он с пыхтеньем и сопеньем поднимал ноги, чтобы оседлать её, Кудлаха перевёртывалась и, лёжа кверху брюхом, лениво помахивая хвостом, отталкивала Павлика своими широкими, неуклюжими лапами.

Павлик Припрыгин сказал, что Петьки он не видал, и попросил у Васьки помочь ему взобраться на Кудлаху.

Но Ваське было не до того. Раздумывая, куда бы это мог пропасть Петька, он пошёл дальше и вскоре натолкнулся на Ивана Михайловича, читавшего, сидя на завалинке, газету.

Иван Михайлович Петьку не видал тоже. Васька огорчился и сел рядом.

— Про что это ты, Иван Михайлович, читаешь? —

спросил он, заглядывая через плечо. — Ты читаешь, а сам улыбаешься. История какая-нибудь или что?

— Про наши места читаю. Тут, брат Васька, написано, что собрались строить возле нашего разъезда завод. Огромный заводище. Алюминий — металл такой — из глины добывать будут. Богатые, пишут, места у нас насчёт этого алюминия. А мы живём — глина, думаем. Вот тебе и глина!

И, как только Васька услышал про это, он тотчас же соскочил с завалинки, чтобы бежать к Петьке и первым сообщить ему эту удивительную новость. Но, вспомнив, что Петька куда-то пропал, он уселся опять, расспрашивая Ивана Михайловича о том, как будут строить, на каком месте и высокие ли у завода будут трубы.

Где будут строить, этого Иван Михайлович ещё и сам не знал, но насчёт труб он разъяснил, что их вовсе не будет, потому что завод будет работать на электричестве. Для этого хотят построить плотину поперёк Тихой речки. Поставят такие турбины, которые будут крутиться от напора воды и вертеть динамо-машины, а от этих динам пойдёт по проволокам электрический ток.

Услышав о том, что и Тихую речку собираются перегораживать, изумлённый Васька снова вскочил, но, вспомнив опять, что Петьки нет, обозлился на него всерьёз.

— И что за дурак! Тут такие дела, а он шляется.

В конце улицы он заметил маленькую шуструю девочку, Вальку Шарапову, которая вот уже несколько минут прыгала на одной ноге вокруг колодезного сруба. Он хотел пойти к ней и спросить, не видала ли она Петьку, но его задержал Иван Михайлович:

— Вы когда в Алёшино бегали, ребята? В субботу или в пятницу?

— В субботу, — вспомнил Васька. — В субботу, потому что у нас в тот вечер баню топили.

— В субботу. Значит, уже неделя прошла. Что же это Егор Михайлович ко мне не заходит?

— Егор-то? Да он, Иван Михайлович, кажется, ещё вчера в город уехал. У нас вечером алёшинский дядя Серафим чай пил и говорил, что Егор уже уехал.

— Что же это он не зашёл? — с досадой сказал



Иван Михайлович. — Обещался зайти и не зашёл. А я-то хотел попросить, чтобы он в городе трубку мне купил.

Иван Михайлович сложил газету и пошёл в дом, а Васька направился к Вальке спрашивать про Петьку.

Но он совсем позабыл о том, что ещё только вчера надавал ей за что-то шлепков, и поэтому он был очень удивлён, когда, увидев его, бойкая Валька показала ему язык и со всех ног бросилась улепётывать к дому.

Между тем Петька был вовсе неподалёку.

Пока Васька бродил, раздумывая о том, куда исчез его товарищ, Петька сидел в кустах, позади огородов, и с нетерпением ожидал, когда Васька уйдёт к себе во двор.

Он не хотел сейчас встречаться с Васькой, потому что за это утро с ним произошёл странный и, пожалуй, даже неприятный случай.

Проснувшись рано, как и было условлено, он взял удилица и направился будить Ваську. Но едва только он высунулся из калитки, как увидал Серёжку.

Не было никакого сомнения в том, что Серёжка направлялся к реке осматривать нырётки. Не подозревая, что Петька за ним подглядывает, он шёл мимо огородов к тропке, на ходу складывая бечёвку от железной «кошки».

Петька вернулся во двор, бросил на пол сарая удилица и побежал вслед за Серёжкой, который скрылся уже в кустах.

Серёжка шёл, весело насвистывая на самодельной деревянной дудочке.

И это было очень на руку Петьке, потому что он мог следовать в некотором отдалении, не подвергаясь опасности быть замеченным и поколоченным.

Утро было солнечное, гомонливое. Всюду лопались почки.

Из земли пробивалась свежая трава. Пахло росой, берёзовым соком, и на жёлтых гроздьях цветущих ив дружно жужжали вылетевшие за добычей пчёлы.

Оттого, что утро было такое хорошее, и оттого, что он так удачно выследил Серёжку, Петьке было весело, и он легко и осторожно пробирался по кривой узенькой тропке.

Так прошло с полчаса, и они приближались к тому месту, где Тихая речка, делая крутой поворот, уходила в овраги.

«Далеко забирается... хитрый», — подумал Петька, уже заранее торжествуя при мысли о том, как, захватив «кошку», побегут они с Васькой к реке, выловят и свою и Серёжкину нырётки и перекинут их на такое место, где Серёжке их уже и вовек не найти.

Посвистывание деревянной дудки внезапно смолкло.

Петька прибавил шагу. Прошло несколько минут — опять тихо.

Тогда, обеспокоенный, стараясь не топтать, он побежал и, очутившись у поворота, высунул из кустов голову: Серёжки не было.

Тут Петька вспомнил, что немного раньше в сторону уходила маленькая тропа, которая вела к тому месту, где Филькин ручей впадал в Тихую речку. Он вернулся к устью ручья, но и там Серёжки не было.

Ругая себя за ротозейство и недоумевая, куда это мог скрыться Серёжка, он вспомнил и о том, что немного выше по течению Филькина ручья есть маленький пруд. И хотя он никогда не слышал, чтобы в том пруду ловили рыбу, но всё же решил сбегать туда, потому что кто его, Серёжку, знает! Он такой хитрый, что разыскал что-нибудь и там.

Вопреки его предположениям, пруд оказался не так близко.

Он был очень мал, весь зацвёл тиной, и, кроме лягушек, в нём ничего хорошего водиться не могло.

Серёжки и тут не было.

Обескураженный, Петька отошёл к Филькину ручью, напился воды, такой холодной, что больше одного глотка без передышки нельзя было сделать, и хотел идти назад.

Васька, конечно, уже проснулся. Если не говорить Ваське, отчего его не разбудил, то Васька рассердится. А если сказать, то Васька будет насмехаться: «Эх, ты, не уследил! Вот я бы... Вот от меня бы...» и так далее.

И вдруг Петька увидел нечто такое, что заставило его сразу позабыть и о Серёжке, и о нырётках, и о Ваське.

Вправо, не дальше как в сотне метров, из-за кустов

выглянула острая вышка брезентовой палатки. И над нею поднималась узенькая прозрачная полоска — дым от костра.

## 6

Сначала Петька просто испугался. Он быстро пригнулся и опустился на одно колено, насторожённо оглядываясь по сторонам.

Было очень тихо. Так тихо, что ясно слышалось весёлое бульканье холодного Филькина ручья и жужжание пчёл, облепивших дупло старой, покрытой мхами берёзы.

И оттого, что было так тихо, и оттого, что лес был приветлив и озарён пятнами тёплого солнечного света, Петька успокоился и осторожно, но уже не из боязни, а просто по хитрой мальчишеской привычке, прячась за кусты, начал подбираться к палатке.

«Охотники? — гадал он. — Нет, не охотники... Зачем они с палаткой приедут? Рыболовы? Нет, не рыболовы — от берега далеко. Но если не охотники и не рыболовы, то кто же?»

«А вдруг разбойники?» — подумал он и вспомнил, что в одной старой книге он видел картинку: тоже в лесу палатка; возле той палатки сидят и пируют свирепые люди, а рядом с ними сидит очень худая и очень печальная красавица и поёт им песню, перебирая длинные струны какого-то замысловатого инструмента.

От этой мысли Петьке стало не по себе. Губы его задрожали, он заморгал и хотел было попятиться назад. Но тут в просвете между кустами он увидел натянутую верёвку, и на той верёвке висели, по-видимому ещё мокрые после стирки, самые обыкновенные подштанники и две пары синих заплатанных носков.

И эти сырые подштанники и заплатанные, болтающиеся по ветру носки как-то сразу успокоили его, и мысль о разбойниках показалась ему смешной и глупой. Он пододвинулся ближе. Теперь ему было видно, что ни около палатки, ни в самой палатке никого нет.

Он разглядел два набитых сухими листьями тюфяка и большое серое одеяло. Посреди палатки на разостланном брезенте валялись какие-то синие и белые бумаги, несколько кусков глины и камней, таких, какие

часто попадают на берегах Тихой речки; тут же лежали какие-то тускло поблёскивающие и незнакомые Петьке предметы.

Костёр слабо дымился. Возле костра стоял большой, перепачканный сажей жестяной чайник. На примятой траве валялась большая белая кость, обглоданная, очевидно, собакой.

Осмелевший Петька подобрался к самой палатке. Прежде всего его заинтересовали незнакомые металлические предметы. Один — треногий, как подставка у заезжавшего в прошлом году фотографа. Другой — круглый, большой, с какими-то цифрами и протянутой поперёк круга ниткой. Третий — тоже круглый, но меньше, похожий на ручные часы, с острой стрелкой.

Он поднял этот предмет. Стрелка колыхнулась, заколебалась и опять стала на место.

«Компас», — догадался Петька, припоминая, что про такую штуковину он читал в книжке.

Чтобы проверить это, он обернулся кругом.

Тонкая острая стрелка тоже повернулась и, несколько раз качнувшись, чёрным концом показала в ту сторону, где на опушке высилась старая раскидистая сосна. Петьке это понравилось. Он обошёл вокруг палатки, завернул за куст, завернул за другой и перекрутился на месте десять раз, рассчитывая обмануть и запутать стрелку. Но едва только он остановился, как лениво качнувшаяся стрелка с прежним упорством и настойчивостью зачернённым остриём показала Петьке, что её, сколько ни вертись, всё равно не обманешь. «Как живая», — подумал восхищённый Петька, сожалея, что у него нет такой замечательной штуки. Он вздохнул и раздумывал, положить компас на место или нет (возможно, что он положил бы). Но в это самое время от противоположной опушки отделилась огромная лохматая собака и с громким лаем устремилась к нему.

Испуганный Петька взвизгнул и бросился бежать напролом через кусты. Собака с яростным лаем неслась за ним и, конечно, догнала бы его, если бы не Филькин ручей, через который по колено в воде перебрался Петька.

Добежав до ручья, который был в этом месте ши-

рок, собака заметалась по берегу, отыскивая, где можно было бы перепрыгнуть.

А Петька, не дожидаясь, пока это случится, понёсся вперёд, прыгая через пни, через коряги и кочки, как преследуемый гончими заяц.

Он остановился передохнуть только тогда, когда очутился уже на берегу Тихой речки.

Облизывая пересохшие губы, он подошёл к реке, напился и, учащённо дыша, тихонько зашагал к дому, чувствуя себя не очень-то хорошо.

Конечно, он не взял бы компаса, если бы не собака.

Но всё-таки собака или не собака, а выходило так, что компас-то он украл.

А он знал, что за такие дела его взгреет отец, не похвалит Иван Михайлович да не одобрит, пожалуй, и Васька.

Но так как дело было уже сделано, а возвращаться с компасом назад ему было и страшно и стыдновато, он утешил себя тем, что, во-первых, он не виноват, во-вторых, кроме собаки, его никто не видал, а в-третьих, компас можно спрятать подальше, а когда-нибудь позже, к осени или к зиме, когда никакой уже палатки не будет, сказать, что нашёл, и оставить себе.

Вот какими мыслями занят был Петька и вот почему отсиживался он в кустах за огородами и не выходил к Ваське, когорый с досадой разыскивал его с самого раннего утра.

## 7

Но, спрятав компас на чердаке дровяного сарая, Петька не побежал искать Ваську, а направился в сад и там задумался над тем, что бы это такое получше соврать.

Вообще-то соврать при случае он был мастер, но сегодня, как назло, ничего правдоподобного придумать не мог. Конечно, он мог бы рассказать только о том, как он неудачно выслеживал Серёжку, и не упоминать ни о палатке, ни о компасе.

Но он чувствовал, что у него не хватит терпения смолчать о палатке. Если смолчать, то Васька и сам может как-нибудь разузнать и тогда будет хвалиться

и зазнаваться: «Эх, ты, ничего не знаешь! Всегда я первый всё узнаю...»

И Петька подумал, что если бы не компас и не эта проклятая собака, то всё было бы интересней и лучше. Тогда ему пришла очень простая и очень хорошая мысль: а что, если пойти к Ваське и рассказать ему про палатку и про компас? Ведь компас-то он и на самом деле не крал. Ведь во всём виновата только собака. Возьмут они с Васькой компас, сбегают к палатке и положат его на место. А собака? Ну и что же собака? Во-первых, можно взять с собою хлеба или мясную кость и кинуть ей, чтобы не гавкала. Во-вторых, можно взять с собою палки. В-третьих, вдвоём вовсе уж не так страшно.

Он так и решил сделать и хотел сейчас же бежать к Ваське, но тут его позвали обедать, и он пошёл с большой охотой, потому что за время своих походов сильно проголодался. После обеда повидать Ваську тоже не удалось. Мать ушла полоскать бельё и заставила его караулить дома маленькую сестрёнку Еленку.

Обыкновенно, когда мать уходила и оставляла его с Еленкой, он подсовывал ей разные тряпки и чурочки и, пока она возилась с ними, преспокойно убежал на улицу и, только завидев мать, возвращался к Еленке, как будто от неё и не отходил.

Но сегодня Еленка была немного нездорова и капризничала. И когда, всучив ей гусиное перо да круглую, как мячик, картофелину, он направился к двери, Еленка подняла такой рёв, что проходившая мимо соседка заглянула в окно и погрозила Петьке пальцем, предполагая, что он устроил сестрёнке какую-либо каверзу.

Петька вздохнул, уселся рядом с Еленкой на толстое одеяло, разостланное на полу, и унылым голосом начал петь ей весёлые песни.

Когда вернулась мать, уже вечерело, и наконец-то освободившийся Петька выскочил из дверей и стал свистать, вызывая Ваську.

— Эх, ты! — укоризненно закричал Васька ещё издали. — Эх, Петька! И где ты, Петька, весь день прошлялся? И почему, Петька, я тебя весь день искал и не нашёл?

И, не дожидаясь, пока Петька что-либо ответит,

Васька быстро выложил все собранные им за день новости. А новостей у Васьки было много.

Во-первых, возле разъезда будут строить завод. Во-вторых, в лесу стоит палатка, и в той палатке живут очень хорошие люди, с которыми он, Васька, уже познакомился. В-третьих, Серёжкин отец выдрал сегодня Серёжку, и Серёжка выл на всю улицу.

Но ни завод, ни плотина, ни то, что Серёжке попало от отца, — ничто так не удивило и не смутило Петьку, как то, что Васька каким-то образом узнал о существовании палатки и первый сообщил о ней ему, Петьке.

— Откуда ты про палатку знаешь? — спросил обиженный Петька. — Я, брат, сам первый всё знаю, со мной сегодня история случилась...

— «История, история!»! — перебил его Васька. — Какая у тебя история? У тебя неинтересная история, а у меня интересная. Когда ты пропал, то я тебя долго искал. И тут искал, и там искал, и всюду искал. Надоело мне искать. Вот пообедал я и пошёл в кусты хлыст срезать. Вдруг навстречу мне идёт человек. Высокий, сбоку кожаная сумка, такая, как у красноармейских командиров. Сапоги-то как у охотника, но только не военный и не охотник. Увидел он меня и говорит: «Пойди-ка сюда, мальчик». Ты думаешь, что я испугался? Нисколько. Вот подошёл я, а он посмотрел на меня и спрашивает: «Ты, мальчик, сегодня рыбу ловил?» — «Нет, — говорю, — не ловил. За мной этот дурак Петька не зашёл. Обещал зайти, а сам куда-то пропал». — «Да, — говорит он, — я и сам вижу, что это не ты. А нет ли у вас другого такого мальчика, немного повыше тебя и волосы рыжеватые?» — «Есть, — говорю, — у нас такой, только это не я, а Серёжка, который нашу нырётку украл». — «Вот, вот, — говорит он, — он недалеко от нашей палатки в пруд сетку закидывал. А где он живёт?» — «Идёмте, — отвечаю я. — Я вам, дядя, покажу, где он живёт».

Идём мы, а я думаю: «И зачем это ему Серёжка понадобился? Лучше бы мы с Петькой понадобились».

Пока мы шли, он мне всё и рассказал. Их двое в палатке. А палатка повыше Филькина ручья. Они, двое-то эти, такие люди — геологи. Землю осматривают, камни, глину ищут и всё записывают, где камни, где песок, где глина. Вот я ему и говорю: «А что, если мы

с Петькой к вам придём? Мы тоже будем искать. Мы здесь всё знаем. Мы в прошлом году такой красный камень нашли, что прямо-таки удивительно, до чего красный. А к Серёжке, — говорю ему, — вы, дядя, лучше бы и не ходили. Он вредный, этот Серёжка. Только бы ему драться да чужие нырётки таскать». Ну, пришли мы. Он в дом зашёл, а я на улице остался. Смотрю, выбегает Серёжкина мать и кричит. «Серёжка! Серёжка! Не видал ли ты, Васька, Серёжку?» А я отвечаю: «Нет, не видал. Видал, только не сейчас, а сейчас не видел». Потом тот человек — техник — вышел, я его проводил до леса, и он позволил, чтобы мы с тобой к ним приходили. Вот вернулся Серёжка. Его отец и спрашивает: «Ты какую-то вещь в палатке взял?» А Серёжка отказывается. Только отец, конечно, не поверил да и выдрал его. А Серёжка как завыл! Так ему и надо. Верно, Петька?

Однако Петьку нисколько не обрадовал такой рассказ. Лицо Петьки было хмурое и печальное. После того как он узнал, что за украденный им компас уже выдрали Серёжку, он почувствовал себя очень неловко. Теперь было уже поздно рассказывать Ваське о том, как было дело. И, захваченный врасплох, он стоял печальный, растерянный и не знал, что он будет сейчас говорить и как теперь будет объяснять Ваське своё отсутствие.

Но его выручил сам Васька.

Гордый своим открытием, он хотел быть великодушным.

— Ты что нахмурился? Тебе обидно, что тебя не было? А ты бы не убежал, Петька. Раз условились, значит, условились. Ну, да ничего, мы завтра вместе пойдём, я же им сказал: и я приду, и мой товарищ Петька придёт. Ты, наверно, к тётке на кордон бегал? Я смотрю: Петьки нет, удилища в сарае. Ну, думаю, наверно, он к тётке побежал. Ты там был?

Но Петька не ответил.

Он помолчал, вздохнул и спросил, глядя куда-то мимо Васьки:

— И здорово отец Серёжку отлупил?

— Должно быть, уж здорово, раз Серёжка так завыл, что на улице слышно было.

— Разве можно бить? — угрюмо сказал Петька, —



Теперь не старое время, чтобы бить. А ты «отлупил да отлупил». Обрадовался! Если бы тебя отец отлупил, ты бы обрадовался?

— Так ведь не меня, а Серёжку, — ответил Васька, немного смущённый Петькиными словами. — И потом, ведь не задаром, а за дело: зачем он в чужую палатку залез? Люди работают, а он у них инструмент ворует. И что ты, Петька, сегодня чудной какой-то. То весь день шатался, то весь вечер сердиться.

— Я не сержусь, — негромко ответил Петька. — Просто у меня сначала зуб заболел, а теперь уже перестаёт.

— И скоро перестанет? — участливо спросил Васька.

— Скоро. Я, Васька, лучше домой побегу. Полежу, полежу дома — он и перестанет.

## 8

Вскоре ребята подружились с обитателями брезентовой палатки.

Их было двое. С ними был лохматый сильный пёс, по кличке «Верный». Этот Верный охотно познакомился с Васькой, но на Петьку он сердито зарычал. И Петька, который знал, за что на него сердится собака, быстро спрятался за высокую спину геолога, радуясь тому, что Верный может только рычать, но не может рассказать то, что знает.

Теперь целыми днями ребята пропадали в лесу. Вместе с геологами они обшаривали берега Тихой речки.

Ходили на болото и даже зашли однажды к дальним Синим озёрам, куда ещё никогда не рисковали забираться вдвоём.

Когда дома их спрашивали, где они пропадают и что они ищут, то они с гордостью отвечали:

— Мы глину ищем.

Теперь они уже знали, что глина глине рознь. Есть глины тощие, есть жирные, такие, которые в сыром виде можно резать ножом, как ломти густого масла. По нижнему течению Тихой речки много суглинка, то есть глины рыхлой, смешанной с песком. В верховьях, у озёр, попадается глина с известью, или мергель, а поближе

к разъезду залегают мощные пласты красно-бурой глинистой охры.

Всё это было очень интересно, особенно потому, что раньше вся глина казалась ребятам одинаковой. В сухую погоду это были просто ссохшиеся комья, а в мокрую — обыкновенная густая и липкая грязь. Теперь же они знали, что глина — это не просто грязь, а сырьё, из которого будет добываться алюминий, и охотно помогали геологам разыскивать нужные породы глин, указывали запутанные тропки и притоки Тихой речки.

Вскоре на разъезде отцепили три товарных вагона, и какие-то незнакомые рабочие начали сбрасывать на насыпь ящики, брёвна и доски.

В эту ночь взволнованные ребята долго не могли уснуть, довольные тем, что разъезд начинает жить новой жизнью, не похожей на прежнюю.

Однако новая жизнь приходит не очень-то горопилась. Выстроили рабочие из досок сарай, свалили туда инструменты, оставили сторожа и, к великому огорчению ребят, все до одного уехали обратно.

Как-то в послеобеденное время Петька сидел возле палатки. Старший геолог Василий Иванович чинил продранный локоть рубахи, а другой — тот, который был похож на красноармейского командира, — измерял что-то по плану циркулем.

Васьки не было. Ваську оставили дома сажать огурцы, и он обещался прийти попозже.

— Вот беда, — сказал высокий, отодвигая план. — Без компаса — как без рук. Ни съёмку сделать, ни по карте ориентироваться. Жди теперь, пока другой из города пришлют.

Он закурил папироску и спросил у Петьки:

— И всегда этот Серёжка у вас такой жулик?

— Всегда, — ответил Петька.

Он покраснел и, чтобы скрыть это, наклонился над погасшим костром, раздувая засыпанные золой угли.

— Петька! — крикнул на него Василий Иванович. — Всю золу на меня сдул! Зачем ты раздуваешь?

— Я думал... может быть, чайник, — неуверенно ответил Петька.

— Такая жарыща, а он — чайник, — удивился высокий и опять начал про то же: — И зачем ему понадобился этот компас? А главное, отказывается, говорит — не брал. Ты бы сказал ему, Петька, по-товарищески: «Отдай, Серёжка. Если сам снести боишься, дай я снесу». Мы и сердиться не будем и жаловаться не будем. Ты скажи ему, Петька.

— Скажу, — ответил Петька, отворачивая лицо от высокого. Но, отвернувшись, он встретился с глазами Верного. Верный лежал, вытянув лапы, высунув язык, и, учащённо дыша, уставился на Петьку, как бы говоря: «И врѣшь же ты, братец! Ничего ты Серёжке не скажешь».

— Да верно ли, что это Серёжка компас украл? — спросил Василий Иванович, окончив шить и втыкая иголку в подкладку фуражки. — Может быть, мы его сами куда-нибудь засунули и зря только на мальчишку думаем?

— А вы бы поискали, — быстро предложил Петька. — И вы поищите, и мы с Васькой поищем. И в траве поищем и всюду.

— Чего искать? — удивился высокий. — Я же у вас попросил компас, а вы, Василий Иванович, сами сказали, что захватить его из палатки позабыли. Чего же теперь искать?

— А мне геперь начинает казаться, что я его захватил. Хорошо не помню, а как будто бы захватил, — хитро улыбаясь, сказал Василий Иванович. — Помните, когда мы сидели на сваленном дереве на берегу Синего озера? Огромное такое дерево. Уж не выронил ли я компас там?

— Чудно что-то, Василий Иванович, — сказал высокий. — То вы говорили, что из палатки не брали, а теперь вот что...

— Ничего не чудно, — горячо вступился Петька. — Эдак тоже бывает. Очень даже часто бывает: думаешь — не брал, а оказывается — брал. И у нас с Васькой было. Пошли один раз мы рыбу ловить. Вот я по дороге спрашиваю: «Ты, Васька, маленькие крючки не позабыл?» — «Ой, — говорит он, — позабыл». Побежали мы назад. Ищем, ищем, никак не найдём. Потом глянул я ему на рукав, а они у него к рукаву

приколоты. А вы, дядя, говорите — чудно. Ничего не чудно.

И Петька рассказал другой случай, как косою Геннадий весь день искал топор, а топор стоял за веником. Он говорил убедительно, и высокий переглянулся с Василием Ивановичем.

— Гм... А пожалуй, можно будет сходить и поискать. Да вы бы сами, ребята, сбегали как-нибудь и поискали.

— Мы поищем, — охотно согласился Петька. — Если он там, то мы его найдём. Никуда он от нас не денется. Тогда мы — раз, раз, туда, сюда и обязательно найдём.

После этого разговора, не дожидаясь Васьки, Петька поднялся и, заявив, что он вспомнил про нужное дело, попрощался и, отчего-то очень весёлый, побежал к тропке, ловко перескакивая через зелёные, покрытые мхом кочки, через ручейки и муравьиные кучи.

Выбежав на тропку, он увидел группу возвращавшихся с разъезда алёшинских крестьян.

Они были чем-то взволнованы, очень рассержены и громко ругались, размахивая руками и перебивая друг друга. Позади шёл дядя Серафим. Лицо его было унылое, ещё унылее, чем тогда, когда обвалившаяся крыша сарая задавила у него поросёнка и гусака.

И по лицу дяди Серафима Петька понял, что над ним опять стряслась какая-то беда.

## 9

Но беда стряслась не только над дядей Серафимом. Беда стряслась над всем Алёшином и, главное, над алёшинским колхозом.

Захватив с собой три тысячи крестьянских денег, тех самых, которые были собраны на акции Трактороцентра, скрылся неизвестно куда главный организатор колхоза — председатель сельсовета Егор Михайлов.

В городе он должен был пробыть двое, ну, от силы трое суток. Через неделю ему послали телеграмму, потом забеспокоились — послали другую, потом послали вслед нарочного. И, вернувшись сегодня, нарочный привёз известие, что в райколхозсоюз Егор не являлся и в банк денег не сдавал.

Заволновалось, зашумело Алёшино. Что ни день, то собрание. Приехал из города следователь. И хотя всё Алёшино ещё задолго до этого случая говорило о том, что у Егора в городе есть невеста, и хотя от одного к другому передавалось много подробностей — и кто она такая, и какая она собой, и какого она характера, но теперь оказалось как-то так, что никто ничего не знал. И никак нельзя было доискаться: кто же видел эту Егорову невесту и откуда вообще узнали о том, что она действительно существует?

Так как дела теперь были запутаны, то ни один из членов сельсовета не хотел замещать председателя.

Из района прислали нового человека, но алёшинские мужики отнеслись к нему холодно. Пошли разговоры, что вот, дескать, Егор тоже приехал из района, а три тысячи крестьянских денег ухнули.

И среди этих событий оставшийся без вожака, а главное, совсем ещё не окрепший, только что организовавшийся колхоз начал разваливаться.

Сначала подал заявление о выходе один, потом другой, потом сразу точно прорвало — начали выходить десятками, без всяких заявлений, тем более что наступил сев и каждый бросился к своей полосе. Только пятнадцать дворов, несмотря на свалившуюся беду, держались и не хотели выходить.

Среди них было и хозяйство дяди Серафима.

Этот вообще-то запуганный несчастьями и придавленный бедами мужик с совершенно непонятным для соседей каким-то ожесточённым упрямством ходил по дворам и, ещё более хмурый, чем всегда, говорил всюду одно и то же: что надо держаться, что если сейчас из колхоза выйти, то тогда уже и вовсе некуда идти, останется только бросить землю и уйти куда глаза глядят, потому что прежняя жизнь — это не жизнь.

Его поддерживали братья Шмаковы, многосемейные мужики, давнишние товарищи по партизанскому отряду, в один день с дядей Серафимом поротые когда-то батальоном полковника Марциновского. Его поддерживал член сельсовета Игошкин, молодой, недавно отделившийся от отца паренёк. И, наконец, неожиданно взял сторону колхоза Павел Матвеевич, который теперь, когда начались выходы, точно назло всем, подал заявление о приёме его в колхоз. Так сколотилось пят-

надцать хозяйств. Они выехали в поле на сев не очень-то весёлые, но упорные в своём твёрдом намерении не сходить с начатого пути.

За всеми этими событиями Петька да Васька позабыли на несколько дней про палатку. Они бегали в Алёшино. Они тоже негодовали на Егора, удивлялись упорству тихого дяди Серафима и очень жалели Ивана Михайловича.

— Бывает и так, ребяташки. Меняются люди, — сказал Иван Михайлович, затягиваясь сильно чадившей, свёрнутой из газетной бумаги сигаркой. — Бывает... меняются. Только кто бы сказал про Егора, что он переменится? Твёрдый был человек. Помню я как-то... Вечер... Въехали мы на какой-то полустанок. Стрелки сбиты, крестовины повынуты, сзади путь разобран и мостик сожжён. На полустанке ни души; кругом лес. Впереди где-то фронт и с боков фронты, а кругом банды. И казалось, что конца-краю этим бандам и фронтам нет и не будет.

Иван Михайлович замолчал и рассеянно посмотрел в окно, туда, где по красноватому закату медленно и упорно продвигались тяжёлые гроззовые облака.

Сигарка чадила, и клубы дыма, медленно разворачиваясь, тянулись кверху по стене, на которой висела полинялая фотография старого боевого бронепоезда.

— Дядя Иван! — окликнул его Петька.

— Что тебе?

— Ну вот: «А кругом банды, и конца-краю этим фронтам и бандам нет и не будет», — слово в слово повторил Петька.

— Да... А разъезд в лесу. Тихо. Весна. Пичужки эти самые чирикают. Вылезли мы с Егоркой грязные, промасленные, потные. Сели на траву. Что делать? Вот Егор и говорит: «Дядя Иван, у нас впереди крестовины повынуты и стрелки поломаны, позади мост сожжён. И мотаемся мы трегьи сутки взад и вперёд по этим бандитским лесам. И спереди фронт и с боков фронты. А всё-таки победим-то мы, а не кто-нибудь». — «Конечно, — говорю ему, — мы. Об этом никто не спорит. Но команда наша с броневиком навряд ли из этой ловушки выберется». А он отвечает: «Ну, не выберемся. Ну и что же? Наш 16-й пропадёт — 28-й на линии останется, 39-й. Доработают». Сломал он веточку красного ши-

повника, понюхал её, воткнул в петлицу угольной блузы. Улыбнулся — как будто бы нет и не было счастливей его человека на свете, взял гаечный ключ, маслёнку и полез под паровоз.

Иван Михайлович опять замолчал, и Петьке с Васькой так и не пришлось услышать, как выбрался броневик из ловушки, потому что Иван Михайлович быстро вышел в соседнюю комнату.

— А как же ребяташки Егора? — немного погодя спросил старик из-за перегородки. — У него их двое

— Двое, Иван Михайлович, Пашка да Машка. Они с бабкой остались, а бабка у них старая. И на печке сидит — ругается, и с печки слезает — ругается. Так целый день — либо молится, либо ругается.

— Надо бы сходить посмотреть. Надо бы что-нибудь придумать. Жалко всё-таки ребяташек, — сказал Иван Михайлович. И слышно было, как за перегородкой запытела его дымная махорочная сигарка.

С утра Васька с Иваном Михайловичем пошли в Алёшино. Звали с собой Петьку, но он отказался — сказал, что некогда.

Васька удивился: почему это Петьке вдруг стало некогда?

Но Петька, не дожидаясь расспросов, убежал.

В Алёшине они зашли к новому председателю, но его не застали. Он уехал за реку, на луг.

Из-за этого луга теперь шла яростная борьба. Раньше луг был поделён между несколькими дворами, причём больший участок принадлежал мельнику Петунину. Потом, когда организовался колхоз, Егор Михайлов добился, чтобы луг этот целиком отвели колхозу. Теперь, когда колхоз развалился, прежние хозяева требовали прежние участки и ссылались на то, что после кражи казённых денег обещанной из района сенокосилки колхозу всё равно не дадут и с сенокосом он не управится.

Но оставшиеся в колхозе пятнадцать дворов ни за что не хотели разбивать луг и, главное, уступать Петунину прежний участок. Председатель держал сторону колхоза, но многие, озлобленные последними событиями крестьяне вступились за Петунина.

И Петунин ходил спокойный, доказывал, что правда

на его стороне и что он хоть в Москву поедет, а своего добьётся.

Дядя Серафим и молодой Игошкин сидели в правлении и сочиняли какую-то бумагу.

— Пишем! — сердито сказал дядя Серафим, здороваясь с Иваном Михайловичем. — Они свою бумагу в район послали, а мы свою пошлём. Прочитай-ка, Игошкин, ладно ли мы написали. Он человек сторонний, и ему виднее.

Пока Игошкин читал да пока они обсуждали, Васька выбежал на улицу и встретился там с Федькой Галкиным, с тем самым рябым мальчуганом, который недавно подрался с «Рыжим» из-за того, что тот дразнился: «Федька-колхоз — поросячий нос».

Федька рассказал Ваське много интересного. Он рассказал о том, что у Семёна Загребина недавно сгорела баня и Семён ходил и божился, что это его подожгли. И что от этой бани огонь чуть-чуть не перекинулся на колхозный сарай, где стоял триер и лежало очищенное зерно.

Ещё он рассказал, что по ночам теперь колхоз наряжает своих сторожей по очереди. И что когда, в свою очередь, Федькин отец запоздал вернуться с разъезда, то он, Федька, сам пошёл в обход, а потом его сменила мать, которая взяла колотушку и пошла сторожить.

— Всё Егор, — закончил Федька. — Он виноват, а нас всех ругают. Все вы, говорит, мастера на чужое.

— А ведь он раньше героем был, — сказал Васька.

— Он и не раньше, а всегда как герой был. У нас мужики и до сих пор никак в толк не возьмут — с чего это он. Он только с виду такой невзрачный, а как возьмётся за что-нибудь, глаза прищурятся, заблестят. Скажет — как отрубит. Как он с лугом-то быстро дело обернул! Будем, говорит, вместе косить, а озимые, говорит, будем вместе и сеять.

— Отчего же он такое плохое дело сделал? — спросил Васька. — Или вот люди говорят, что от любви?

— От любви свадьбу справляют, а не деньги воруют, — возмутился Федька. — Если бы все от любви деньги воровали, тогда что бы было? Нет уж, это не от любви, а не знаю от чего... И я не знаю, и никто не знает. А есть у нас такой Сидор хромой. Старый уже. Так тот и вовсе, если начнёшь про Егора говорить, он



и слушать не хочет: «Нету, говорит, ничего этого». И не слушает, отвернётся и заковыляет скорей в сторону. И всё что-то бормочет, бормочет, а у самого слёзы катятся, катятся. Такой блажной старик. Он раньше у Данилы Егоровича на пасеке работал. Да тот рассчитал за что-то, а Егор вступился.

— Федыка, — спросил Васька, — а что Ермолая не видать? Или он в этот год у Данилы Егоровича сад караулить не будет?

— Будет. Вчера я его видал, он из лесу шёл. Пьяный. Он всегда такой. Покуда яблоки не поспеют, он пьёт. А как только время подходит, так Данила Егорович денег на водку ему больше не даёт, и тогда он караулит трезвый да хитрый. Помнишь, Васька, как он тебя один раз крапивой?

— Помню, помню, — скороговоркой ответил Васька, стараясь замаять эти неприятные воспоминания. — Отчего это, Федыка, Ермолай в рабочие не идёт, землю не пашет? Ведь он вон какой здоровый.

— Не знаю, — ответил Федыка. — Слышал я, что ещё давно когда-то он, Ермолай, в дезертиры от красных уходил. Потом в тюрьме сколько-то сидел. А с тех пор он всегда такой. То уйдёт куда-нибудь из Алёшина, то на лето опять вернётся. Я, Васька, не люблю Ермолая. Он только к собакам добрый, да и то когда пьяный.

Ребятишки разговаривали долго. Васька тоже рассказал Федыке о том, какие дела творятся около разъезда. Рассказал про палатку, про завод, про Серёжку, про компас.

— И вы к нам прибегайте, — предложил Васька. — Мы к вам бегаем, и вы к нам бегайте. И ты, и Колька Зипунов, и ещё кто-нибудь. Ты читать-то умеешь, Федыка?

— Немножко.

— И мы с Петькой тоже немножко.

— Школы нет. Когда Егор был, то он очень старался, чтобы школа была. А теперь уж не знаю как. Озлобились мужики — не до школы.

— Завод строить начнут, и школу построят, — утешал его Васька. — Может быть, доски какие-нибудь останутся, брёвна, гвозди... Много ли на школу нужно? Мы попросим рабочих, они и построят. Да мы сами

помогать будем. Вы прибегайте к нам, Федька, и ты, и Колька, и Алёшка. Соберёмся кучей, что-нибудь интересное придумаем.

— Ладно, — согласился Федька. — Как только с картошкой управимся, так и прибежим.

Вернувшись в правление колхоза, Васька Ивана Михайловича уже не застал. Ивана Михайловича он нашёл у Егоровой избы, возле Пашки да Машки.

Пашка и Машка грызли принесённые им пряники и, перебивая и дополняя друг друга, доверчиво рассказывали старику про свою жизнь и про сердитую бабу.

## 10

— Гайда, гай! Гоп-гоп! Хорошо жить! Солнце светит — гоп, хорошо! Цок-цок! Ручьи звенят. Птицы поют. Гайда, кавалерия!

Так скакал по лесу на своих двоих, держа путь к дальним берегам Синего озера, отважный и весёлый кавалерист Петька. В правой руке он сжимал хлыст, который заменял ему то гибкую нагайку, то острую саблю, в левой — фуражку с запрятанным в неё компасом, который нужно было сегодня спрятать, а завтра во что бы то ни стало разыскать с Васькой у того сваленного дерева, где отдыхал когда-то забывчивый Василий Иванович.

— Гайда, гай! Гоп-гоп! Хорошо жить! Василий Иванович — хорошо! Палатка — хорошо! Завод — хорошо! Всё хорошо! Стоп!

И Петька, он же конь, он же и всадник, со всего размаха растянулся на траве, зацепившись ногою за выступивший корень.

— У, чёрт, спотыкаешься! — выругал Петька-всадник Петьку-коня. — Как взгрею нагайкой, так не будешь спотыкаться.

Он поднялся, вытер попавшую в лужу руку и осмотрелся.

Лес был густой и высокий. Огромные, спокойные старые берёзы отсвечивали поверху яркой свежей зеленью. Внизу было прохладно и сумрачно. Дикие пчёлы с однотонным жужжанием кружились возле дупла полусгнившей, покрытой наростами осины. Пахло гри-

бами, прелой листвою и сыростью распластавшегося неподалёку болотца.

— Гайда, гай! — сердито прикрикнул Петька-всадник на Петьку-коня. — Не туда заехал!

И, дёрнув левый повод, он поскакал в сторону, на подъём.

«Хорошо жить, — думал на скаку храбрый всадник Петька. — И сейчас хорошо. А вырасту — будет ещё лучше. Вырасту — сяду на настоящего коня, пусть мчится. Вырасту — сяду на аэроплан, пусть летит. Вырасту — стану к машине, пусть грохает. Все дальние страны проскачу и облетаю. На войне буду первым командиром. На воздухе буду первым лётчиком. У машины буду первым машинистом. Гайда, гай! Гоп-гоп! Стоп!»

Прямо под ногами сверкала ярко-жёлтыми кувшинками узкая мокрая поляна. Озадаченный Петька вспомнил, что такой поляны на его пути не должно быть, и решил, что, очевидно, проклятый конь опять занёс его не туда, куда надо.

Он обогнул болотце и, обеспокоенный, пошёл шагом, внимательно осматриваясь и угадывая, куда же это он попал.

Однако чем дальше он шёл, тем яснее становилось ему, что он заблудился. И от этого с каждым шагом жизнь начинала уже казаться ему всё более и более печальной и мрачной.

Покрутившись ещё немного, он остановился, вовсе уже не зная, куда дальше идти, но тут он вспомнил о том, что как раз при помощи компаса мореплаватели и путешественники всегда находят правильный путь. Он вынул из кепки компас, нажал сбоку кнопочку, и освобождённая стрелка зачернённым остриём показала в ту сторону, в какую Петька меньше всего собирался идти. Он потрянул компас, но стрелка упорно показывала всё то же направление.

Тогда Петька пошёл, рассуждая, что компасу виднее, но вскоре упёрся в такую гущу разросшегося осинника, что прорваться через неё, не изодрав рубахи, было никак невозможно.

Он пошёл в обход и опять взглянул на компас. Но сколько он ни крутился, стрелка с бессмысленным упорством толкала его или в болото, или в гущу, или

ещё куда-нибудь в самое неудобное, труднопроходимое место.

Тогда, обозлённый и испуганный, Петька всунул компас в кепку и пошёл дальше просто на глаз, сильно подозревая, что все мореплаватели и путешественники должны были бы давно погибнуть, если бы они всегда держали путь туда, куда показывает зачернённое остриё стрелки.

Он шёл долго и собирался уже прибегнуть к последнему средству, то есть громко заплакать, но тут в просвет деревьев он увидел низкое, опускавшееся к закату солнце.

И вдруг весь лес как будто бы повернуло к нему другой, более знакомой стороной. Очевидно, это произошло оттого, что он вспомнил, как на фоне заходившего солнца всегда ярко вырисовывались крест и купол алёшинской церкви.

Теперь он понял, что Алёшино не слева от него, как он думал, а справа и что Синее озеро у него уже не впереди, а позади.

И едва только это случилось, лес показался ему знакомым, так как все перепутанные поляны, болотца и овраги в обычной последовательности прочно и послушно улеглись на свои места.

Вскоре он угадал, где находится. Это было довольно далеко от разъезда, но не так уже далеко от тропки, которая вела из Алёшина на разъезд. Он приободрился, вскочил на воображаемого коня и вдруг притих и насторожил уши.

Совсем неподалёку он услышал песню. Это была какая-то странная песня, бессмысленная, глухая и тяжёлая. И Петьке не понравилась такая песня. И Петька притаился, оглядываясь и ожидая удобной минуты, чтобы дать коню шпоры и помчаться скорей от сумерек, от неприветливого леса, от странной песни на знакомую тропку, на разъезд, домой.

## 11

Ещё не доходя до разъезда, возвращающиеся из Алёшина Иван Михайлович и Васька услышали шум и грохот.

Поднявшись из ложбины, они увидели, что весь ту-

пик занят товарными вагонами и платформами. Немного поодаль раскинулся целый посёлок серых палаток. Горели костры, дымилась походная кухня, бурчали над кострами котлы. Ржали лошади. Суетились рабочие, сбрасывая брёвна, доски, ящики и стаскивая с платформы повозки, сбрую и мешки.

Потолкавшись среди работающих, рассмотрев лошадей, заглянув в вагоны и палатки и даже в топку походной кухни, Васька побежал разыскивать Петьку, чтобы расспросить его, когда приехали рабочие, как было дело и почему это Серёжка крутится возле палаток, подтаскивая хворост для костров, и никто его не ругает и не гонит прочь.

Но встретившаяся по пути Петькина мать сердито ответила ему, что «этот идол» провалился куда-то ещё с полдня и обедать домой не приходил.

Это совсем уже удивило и рассердило Ваську.

«Что это с Петькой делается? — думал он. — В прошлый раз куда-то пропал, сегодня опять тоже пропал. И какой этот Петька хитрый! Тихоня тихоней, а сам что-то втихомолку вытворяет».

Раздумывая над Петькиным поведением и очень не одобряя его, Васька неожиданно натолкнулся на такую мысль: а что, если это не Серёжка, а сам Петька, чтобы не делиться уловом, взял да и перебросил нырётку и теперь выбирает гайком рыбу?

Это подозрение ещё больше укрепилось у Васьки после того, как он вспомнил, что в прошлый раз Петька соврал ему, будто бы бегал к тётке. На самом деле его там не было.

И теперь, почти что уверившись в своём подозрении, Васька твёрдо решил учинить Петьке строгий допрос и, в случае чего поколотить его, чтобы впредь так делать было неповадно.

Он пошёл домой и ещё из сеней услышал, как отец с матерью о чём-то громко спорили.

Опасаясь, как бы вгорячах и ему за что-нибудь не попало, он остановился и прислушался.

— Да как же это так? — говорила мать, и по её голосу Васька понял, что она чем-то взволнована. — Хоть бы одуматься дали. Я картошки две меры посадила, огурцов три грядки. А теперь, значит, всё пропало?

— Экая ты, право! — возмущался отец. — Неужели же будут дожидаться? Подождём, дескать, пока у Катерины огурцы поспеют. Тут вагоны негде разгружать, а она — огурцы. И что ты, Катя, чудная какая? То ругалась: и печка в будке плоха, и тесно, и низко, а теперь жалко ей будку стало. Да пусть её ломают. Пропали она пропадом!

«Почему огурцы пропали? Какие вагоны? Кто будет ломать будку?» — опешил Васька и, подозревая что-то недоброе, вошёл в комнату.

И то, что он узнал, ошеломило его ещё больше, чем первое известие о постройке завода. Их будку сломают. По участку, на котором она стоит, проложат запасные пути для вагонов с построечными грузами.

Переезд перенесут на другое место и там построят для них новый дом.

— Ты пойми, Катерина, — доказывал отец, — разве же нам такую будку построят? Это теперь не прежнее время, чтобы для сторожей какие-то собачьи конуры строить. Нам построят светлую, просторную. Ты радоваться должна, а ты... огурцы, огурцы!

Мать молча отвернулась.

Если бы всё это подготавливалось потихоньку да исподволь, если бы всё это не навалилось вдруг, сразу, она и сама была бы довольна оставить старую, ветхую и тесную конурку. Но сейчас её пугает то, что всё кругом решалось, делалось и двигалось как-то уж очень быстро. Пугало то, что события с невиданной, необычной торопливостью возникали одно за другим. Жил разъезд тихо. Жило Алёшино тихо. И вдруг точно какая-то волна, издалека докатившись наконец и сюда, захлестнула и разъезд и Алёшино. Колхоз, завод, плотина, новый дом... Всё это смущало и даже пугало своей новизной, необычностью и, главное, своей стремительностью.

— А верно ли. Григорий, что лучше будет? — спросила она, расстроенная и растерянная. — Плохо ли, хорошо ли, а жили мы да жили. А вдруг хуже будет?

— Полно тебе, — возражал ей отец. — Полно гордить, Катя... Стыдно! Мелешь, сама не знаешь что. Разве затем оно у нас всё делается, чтобы хуже было? Ты посмотри лучше на Васькину рожу. Вон он стоит,

шельмец, и рот до ушей. На что мал ещё, а и то понимает, что лучше будет. Так, что ли, Васька?

Но Васька даже не нашёл что ответить и только молча кивнул головой.

Много новых мыслей, новых вопросов занимало его беспокойную голову. Так же как и мать, он удивлялся тому, с какой быстротой следовали события. Но его не пугала эта быстрота — она увлекала, как стремительный ход мчавшегося в дальние страны скорого поезда.

Он ушёл на сеновал и забрался под тёплый овчинный полушубок. Но ему не спалось.

Издалека слышался непрекращающийся стук сбрасываемых досок. Пыхтел маневровый паровоз. Лязгали сталкивающиеся буфера, и как-то тревожно звучал сигнальный рожок стрелочника.

Через выломанную доску крыши Васька видел кусочек ясного чёрно-синего неба и три ярких лучистых звезды.

Глядя на эти дружно мерцавшие звёзды, Васька вспомнил, как уверенно говорил отец о том, что жизнь будет хорошая. Он ещё крепче укутался в полушубок, закрыл глаза и подумал: «А какая она будет хорошая?» — и почему-то вспомнил плакат, который висел в красном уголке. Большой, смелый красноармеец стоит у столба и, сжимая замечательную винтовку, зорко смотрит вперёд. Позади него зелёные поля, где желтеет густая, высокая рожь, где цветут большие, неогороженные сады и где раскинулись красивые и так не похожие на убогое Алёшино просторные и привольные сёла.

А дальше, за полями, под прямыми широкими лучами светлого солнца гордо высятся трубы могучих заводов. Через сверкающие окна видны колёса, огни, машины.

И всюду люди, бодрые, весёлые. Каждый занят своим делом — и на полях, и в сёлах, и у машин. Одни работают, другие уже отработали и отдыхают.

Какой-то маленький мальчик, похожий немного на Павлика Припрыгина, но только не такой перемазанный, задрал голову, с любопытством разглядывает небо, по которому плавно несётся длинный стремительный дирижабль.

Васька всегда немного завидовал тому, что этот

смеющийся мальчуган был похож на Павлика Припрыгина, а не на него. Ваську.

Но в другом углу плаката — очень далеко, в той стороне, куда зорко всматривался стороживший эту дальнюю страну красноармеец, — было нарисовано что-то такое, что всегда возбуждало у Васьки чувство смутной и неясной тревоги.

Там вырисовывались чёрные расплывчатые тени. Там обозначались очертания озлобленных, нехороших лиц. И как будто бы кто-то смотрел оттуда пристальными, недобрыми глазами и ждал, когда уйдёт или когда отвернётся красноармеец.

И Васька был очень рад, что умный и спокойный красноармеец никуда не уходил, не отворачивался, а смотрел как раз туда, куда надо. И всё видел, и всё понимал.

Васька уже совсем засыпал, когда услышал, как хлопнула калитка, кто-то зашёл к ним в будку.

Минуту спустя его окликнула мать:

— Вася... Васька! Ты спишь, что ли?

— Нет, мама, не сплю.

— Ты не видал сегодня Петьку?

— Видал, да только утром, а больше не видал. А на что он тебе?

— А на то, что сейчас его мать приходила. Пропал, говорит, ещё до обеда и до сего времени нет и нет.

Когда мать ушла, Васька встревожился. Он знал, что Петька не очень-то храбрый, чтобы разгуливать по ночам, и поэтому он никак не мог понять, куда девался его непутёвый товарищ.

Петька вернулся поздно. Он вернулся без фуражки. Глаза его были красные, заплаканные, но уже сухие. Видно было, что он очень устал, и поэтому он как-то равнодушно выслушал все упрёки матери, отказался от еды и молча залез под одеяло.

Он вскоре уснул, но спал беспокойно: ворочался, стонал и что-то бормотал.

Он сказал матери, что просто заблудился, и мать поверила ему. То же самое он сказал Ваське, но Васька не особенно поверил. Для того чтобы заблудиться, надо куда-то идти или что-то разыскивать. А куда и



зачем он ходил, этого Петька не говорил или нёс что-то несуразное, нескладное, и Ваське сразу было видно, что он врёт.

Но когда Васька попытался изобличить его во лжи, то обыкновенно изворотливый Петька не стал даже оправдываться. Он только, усиленно заморгав, отвернулся.

Убедившись в том, что всё равно от Петьки ничего не добьёшься, Васька прекратил расспросы, оставшись, однако, в сильном подозрении, что Петька — товарищ какой-то странный, скрытный и хитрый.

К этому времени геологическая палатка снялась со своего места, с тем чтобы продвинуться дальше, к верховьям реки Синявки.

Васька и Петька помогали грузить вещи на навьюченных лошадей. И когда всё было готово к тому, чтобы тронуться в путь, Василий Иванович и другой — высокий — тепло попрощались с ребятами, с которыми они так много бродили по лесам. Они должны были вернуться на разъезд только к концу лета.

— А что, ребята, — спросил Василий Иванович напоследок, — вы так и не бегали поискать компас?

— Всё из-за Петьки, — ответил Васька. — То он сначала сам предложил: пойдём, пойдём... А когда я согласился, то он упёрся и не идёт. Один раз звал — не идёт. Другой раз — не идёт. Так и не пошёл.

— Ты что же это? — удивился Василий Иванович, который помнил, как горячо вызывался Петька отправиться на поиски.

Неизвестно, что бы ответил и как бы вывернулся смутившийся и притихший Петька, но тут одна из навьюченных лошадей, отвязавшись от дерева, побежала по тропке. Все кинулись догонять её, потому что она могла уйти в Алёшино.

Точно после удара нагайки, Петька рванулся за ней прямо через кусты, через мокрый луг. Он весь обрызгался, изорвал подол рубахи и, выскочив наперерез, уже перед самой тропкой крепко вцепился в поводья.

И когда он молча подводил упрямявшегося коня к запыхавшемуся и отставшему Василию Ивановичу, он учащённо дышал, глаза его блестели, и видно было, что

он несказанно горд и счастлив, что ему удалось оказать услугу этим отправляющимся в дальний путь хорошим людям.

## 12

И ещё не успели достроить новый дом, едва только закончили настилку пола и принялись за оконные рамы, а стальные линии запасных путей уже переползли через грядки, опрокинули ветхий заборчик, столкнули дровяной сарай и упёрлись в стены старой будки.

— Ну, Катя, — сказал отец, — будем сегодня переезжать. Двери да окна и при нас могут докончить. А здесь, как видишь, ожидать не приходится.

Тогда стали связывать узлы, вытаскивать ящики, матрацы, чугуны, хвататы.

Сложили всё это на телегу. Привязали сзади козу Маньку и тронулись на новые места.

Отец взялся за вожжи. Васька держал керосиновую лампу и хрупкий стеклянный колпак. Мать бережно прижимала два глиняных горшка с кустиками распустившихся гераней.

Перед тем как тронуться, все невольно обернулись.

Уже со всех сторон обступали рабочие старенькую грязновато-желтую будку. Уже застучали по крыше топоры, заскрипели выворачиваемые ржавые гвозди, и первые сорванные доски тяжело грохнулись о землю.

— Как на пожаре, — сказала мать, отворачиваясь и низко склоняя голову, — и огня нет, а кругом — как пожар.

Вскоре из Алёшина целым гуртом прибежали ребята: Фёдка, Колька, Алёшка и ещё двое незнакомых — Яшка да Шурка.

Ходили на площадку смотреть экскаватор, бегали к плотине, где забивали в землю бревенчатые шпунты, и наконец пошли купаться.

Вода была тёплая. Плавали, брызгались и долго хохотали над трусливым Шуркой, который громко и отчаянно заорал, когда нырнувший Фёдка неожиданно схватил его под водой за ноги.

Потом валялись на берегу, разговаривали о прежних и новых делах.

— Васька, — спросил Фёдка, лёжа на спине и за-

крывая рукою от солнца круглое веснушчатое лицо, — что это такое пионеры? Почему, например, они идут всегда вместе и в барабан бьют и в трубы трубят? А вот один раз отец читал, что пионеры не воруют, не ругаются, не дерутся и ещё чего-то там не делают. Что же они, как святые, что ли?

— Ну нет... не святые, — усомнился Васька. — Я в прошлом году к дяде ездил. У него сын Борька — пионер, так он мне два раза так по шее натрескал, что только держись. А ты говоришь — не дерутся. Просто обыкновенные мальчишки и девчонки. Вырастут, в комсомольцы пойдут, потом в Красную Армию. И я, когда вырасту, тоже пойду в Красную Армию. Возьму винтовку и буду сторожить.

— Кого сторожить? — не понял Федька.

— Как — кого? Всех! А если не сторожить, то налетит белая банда и завоюет все наши страны. Я знаю, Федька, что такое белая армия, мне Иван Михайлович всё рассказал. Белая — это всякие цари, всякие торговцы, кулаки.

— А кто же Данила Егорович? — спросил молча слушавший Алёшка. — Вот он кулак. Значит, он тоже белая армия?

— У него винтовки нет, — после некоторого раздумья ответил Васька. — У него нет винтовки, а есть только старая шомполка.

— А если бы была? — не унимался Алёшка.

— А если бы да если бы! А кто ему продаст винтовку? Разве же винтовки или пулемёты продают каждому, кто захочет?

— Нам бы не продали, — согласился Алёшка.

— Нам бы не продали, потому что мы малы ещё, а Даниле Егоровичу совсем не поэтому. Вот погодите, школа будет, тогда всё узнаете.

— Будет ли школа? — усомнился Федька.

— Обязательно будет, — уверял Васька. — Вы приходите на той неделе, мы все вместе, гуртом, пойдём к главному инженеру и попросим, чтобы велел построить.

— Совестно как-то просить, — поёжился Алёшка.

— Ничего не совестно. Это одному совестно. Вот, скажут, какой выискался! А если всем, то нисколько

**не совестно. Я хоть сам пойду и попрошу. Чего бояться? Что он, стукнет, что ли.**

Алёшинские ребята собрались уходить, а Васька решил проводить их.

Когда они вышли на тропку, то увидели Петьку. По-видимому, он давно стоял тут и раздумывал, подойти ему к ребятам или не подойти.

— Пойдём, Петька, с нами, — предложил Васька, которому не хотелось возвращаться одному. — Пойдём, Петька. Что ты такой скучный? Все весёлые, а он скучный.

Петька посмотрел на солнце, но солнце стояло ещё высоко, и, виновато улыбнувшись, он согласился.

Возвращаясь вдвоём, под высоким дубом, что рос неподалёку от хутора Данилы Егоровича, они увидели Пашку да Машку.

Эти маленькие ребятки сидели на зелёном бугре и собирали что-то с земли, должно быть прошлогодние жёлуди.

— Пойдём к ним, — предложил Васька, — посидим, отдохнём и посмеёмся немножко. Пойдём, Петька! И что ты стал какой-то тихоня? Успеешь ещё домой.

Они осторожно подобрались сзади к ребяткам, опустили на четвереньки и сердито зарычали:

— Рррр... рррр...

Пашка и Машка подскочили и, даже не смея обернуться, схватились за руки и пустились наутёк.

Но ребята обогнали их и загородили им дорогу.

— И что как напугали! — укоризненно сказал Пашка, серьёзно хмуря коротенькие тонкие брови.

— Совсем испугали! — подтвердила Машка, вытирая наполнившиеся слезами глаза.

— А вы думали, это кто? — спросил довольный своей шуткой Васька.

— А мы думали — волк, — ответил Пашка.

— Или думали — медведь, — добавила Машка и, улыбнувшись, протянула ребятам горсть крупных желудей.

— На что они нам? — отказался Васька. — Вы сами играйте. Мы уже большие, и это нам не игра.

— Очень хорошая игра, — ответила Машка. И, очевидно, никак не понимая, почему для Васьки жёлудь — это не игра, радостно рассмеялась.

— Ну что, у вас бабка ругается? — спросил Васька и с неожиданной жестокостью добавил: — Так вам и надо. Потому что отец у вас — жулик.

— Васька, не надо! — вступился Петька. — Ведь они маленькие.

— Ну и что же, что маленькие? — с каким-то необъяснимым злорадством продолжал Васька. — Раз жулик, значит, жулик. Верно ведь, Пашка, у вас отец — жулик?

— Васька, не надо! — почти умоляюще попросил Петька.

Немного испуганные резким Васькиным тоном, Пашка и Машка молча переглянулись.

— Жулик, — тихо и покорно согласился Пашка.

— Жулик, — повторила Машка и тепло улыбнулась. — Только он хороший был жулик. Бабка нехорошая, недобрая, а он хороший... А потом... — Тут голос её чуть-чуть задрожал, она вздохнула, большие голубые глаза её стали влажными и печальными, а маленькие ручонки разжались, и два крупных жёлудя тихо упали на мягкую траву. — А потом взял он, наш папочка, да куда-то далеко-далеко от нас уехал.

Какой-то вскрик, странный, приглушённый, раздался позади Васьки.

Он обернулся и увидел, что, крепко втиснув голову в сочную, душистую траву, вздрагивая угловатыми, худыми плечами, Петька безудержно, беззвучно... плачет.

### 13

Дальние страны, те, о которых так часто мечтали ребяташки, туже и туже смыкая кольцо, надвигались на безымянный разъезд № 216.

Дальние страны с большими вокзалами, с огромными заводами, с высокими зданиями были теперь где-то уже не очень далеко.

Ещё так же, как и прежде, проносился мимо безудержный скорый, но уже останавливались пассажирский сорок второй и почтовый двадцать четвёртый.

Ещё пусто и голо было на изрытой ямами заводской площадке, но уже копошились на ней сотни рабочих, уже ползала по ней, вгрызаясь в землю и лязгая же-

лезной пастью, похожая на приручённое чудовище диковинная машина — экскаватор.

Опять прилетел для фотосъёмки аэроплан. Что ни день, то выростали новые бараки, склады, подсобные мастерские. Приехали кинопередвижка, вагон-баня, вагон-библиотека.

Заговорили рупоры радиоустановок, и наконец с винтовками за плечами пришли часовые Красной Армии и молча стали на свои посты.

По пути к Ивану Михайловичу Васька остановился там, где ещё совсем недавно стояла их старая будка.

Угадывая её место только по уцелевшим столбам шлагбаума, он подошёл поближе и, глядя на рельсы, подумал о том, что вот эта блестящая рельсина пройдёт теперь как раз через тот угол, где стояла их печка, на которой они так часто грелись с рыжим котом Иваном Ивановичем, и что если бы его кровать поставить на прежнее место, она встала бы как раз на самую крестовину, прямо поперёк железнодорожного полотна.

Он огляделся. По их огороду, подталкивая товарные вагоны, с пыхтеньем ползал старый маневровый паровоз.

От грядок с хрупкими огурцами не осталось и следа, но неприхотливая картошка через песок насыпей и даже через колкий щебень кое-где упрямо пробивалась кверху кустиками пыльной, сочной зелени.

Он пошёл дальше, припоминая прошлое лето, когда в эти утренние часы было пусто и тихо. Изредка только загогочат гуси, звякнет жестяным колокольцем привязанная к колу коза да загремит вёдрами у скрипучего колодца вышедшая за водой баба. А сейчас...

Глухо бабахали тяжёлые кувалды, вколачивая огромные брёвна в берега Тихой речки. Гремели разгружаемые рельсы, звенели молотки в слесарной мастерской, и пулемётной дробью трещали неумолчные камнедробилки.

Васька пролез под вагонами и лицом к лицу столкнулся с Серёжкой.

В запачканных клеем руках Серёжка держал коловорот и, наклонившись, разыскивал что-то в траве, пересыпанной коричневым промасленным песком.

Он искал, по-видимому, уже давно, потому что лицо у него было озабоченное и расстроенное.

Васька посмотрел на траву и нечаянно увидал то, что потерял Серёжка. Это была металлическая пёрка, которую вставляют в коловорот, чтобы провёртывать дырки.

Серёжка не мог её видеть, так как она лежала за шпалой с Васькиной стороны.

Серёжка взглянул на Ваську и опять наклонился, продолжая поиски.

Если бы во взгляде Серёжки Васька уловил что-либо вызывающее, враждебное или чуточку насмешливое, он прошёл бы своей дорогой, предоставив Серёжке заниматься поисками хоть до ночи. Но ничего такого на лице Серёжки он не увидал. Это было обыкновенное лицо человека, озабоченного потерей нужного для работы инструмента и огорчённого безуспешностью своих поисков.

— Ты не там ищешь, — невольно сорвалось у Васьки. — Ты в песке ищешь, а она лежит за шпалой.

Он поднял пёрку и подал её Серёжке.

— И как она залетела туда? — удивился Серёжка. — Я бежал, а она выскочила и вот куда залетела.

Они уже готовы были заулыбаться и вступить в переговоры, но, вспомнив о том, что между ними старая, не прекращающаяся вражда, оба мальчугана нахмурились и внимательно оглядели один другого.

Серёжка был немного постарше, повыше и потоньше. У него были рыжие волосы, серые озорные глаза, и весь он был какой-то гибкий, изворотливый и опасный.

Васька был шире, крепче и, возможно, даже сильнее. Он стоял, чуть склонив голову, одинаково готовый и к тому, чтобы разойтись миром, и к тому, чтобы подраться, хотя он и знал, что в случае драки попадёт всё-таки больше ему, а не его противнику.

— Эй, ребята! — окликнул их с платформы человек, в котором они узнали главного мастера из механической мастерской. — Пойдите-ка сюда. Помогите немного.

Теперь, когда выбора уже не оставалось и затеять драку означало отказать в той помощи, о которой просил мастер, ребята разжали кулаки и быстро полезли на открытую грузовую платформу.

Там валялись два ящика, разбитые неудачно упавшей железной балкой.

Из ящиков по платформе, как горох из мешка, высыпались и раскатились маленькие и большие, короткие и длинные, узкие и голстые железные гайки.

Ребятам дали шесть мешков — по три на каждого — и попросили их разобрать гайки по сортам. В один мешок гайки механические, в другой — газовые, в третий — метровые.

И они принялись за работу с той поспешностью, которая доказывала, что, несмотря на несостоявшуюся драку, дух соревнования и желания каждого быть во всём первым нисколько не угас, а только принял иное выражение.

Пока они были заняты работой, платформу толкали, перегоняли с пути на путь, отцепляли и куда-то опять прицепляли.

Всё это было очень весело, особенно тогда, когда сцепщик Семён, предполагая, что ребята забрались на маневрирующий состав из баловства, хотел огреть их хворостиной, но разглядев, что они заняты работой, ругаясь и чертыхаясь, соскочил с подножки платформы.

Когда они окончили разборку и доложили об этом мастеру, мастер решил, что, вероятно, ребята свалили все гайки без разбора в одну кучу, потому что окончили они очень уж скоро. Но он не знал, что они старались и потому что гордились порученной им работой, и потому, что не хотели отставать один от другого.

Мастер был очень удивлён, когда, раскрыв принесённые грузчиком мешки, увидел, что гайки тщательно рассортированы так, как ему было надо.

Он похвалил их, позволил им приходить в мастерские и помогать в чём-нибудь, что сумеют или чему научатся.

Довольные они шли домой уже как хорошие, давнишние но знающие каждый себе цену друзья. И только на одну минуту вспыхнувшая искорка вражды готова была разгореться вновь. Это тогда, когда Васька спросил у Серёжки брал он компас или не брал.

Глаза Серёжки стали злыми, пальцы рук сжались, но рот улыбался.

— Компас? — спросил он с плохо скрываемой озлобленностью, оставшейся от памятной порки. — Вам лучше знать, где компас. Вы бы его у себя поискали...



Он хотел ещё что-то добавить, но, пересиливая себя, замолчал и насупился.

Так они прошли несколько шагов.

— Ты, может быть, скажешь, что и нырётку нашу не брал? — недоверчиво спросил Васька, искоса поглядывая на Серёжку.

— Не брал, — отказался Серёжка, но теперь лицо его приняло обычное хитровато-насмешливое выражение.

— Как же не брал? — возмущился Васька. — Мы шарили, шарили по дну, а её нет и нет. Куда же она девалась?

— Значит, плохо шарили. А вы пошарьте получше. — Серёжка рассмеялся и, глядя на Ваську с каким-то странным и сбившим с толку добродушием, добавил: — У них там рыбы, поди-ка, набралось прорва, а они сидят себе да охают!

На другой же день, ещё спозаранку, захватив «кошку», Васька направился к реке, без особой, впрочем, веры в Серёжкины слова.

Три раза закидывал он «кошку», и всё впустую. Но на четвёртом разе бечёвка туго натянулась.

«Неужели правда он не брал? — думал Васька, быстро подтягивая добычу. — Ну конечно, не брал... Вот, вот она... А мы-то... Эх, дураки!»

Тяжёлая плетёная нырётка показалась над водой. Внутри неё что-то ворочалось и плескалось, вызывая в Васькином воображении самые радужные надежды. Но вот, вся в песке и в наплывах холодной тины, она шлёпнулась на берег, и Васька кинулся разглядывать богатую добычу.

Изумление и разочарование овладели им, когда, раскрыв плетёную дверцу, он вытряхнул на землю около двух десятков дохлых лягушек.

«И откуда они, проклятые, понабились? — удивился Васька. — Ну, бывало, случайно одна заберётся, редко-редко две. А тут, гляди-ка, ни одного ёршика, ни одной малюсенькой плотички, а, точно на смех, целый табун лягушек».

Он закинул нырётку обратно и пошёл домой, сильно подозревая, что компас-то, может быть, Серёжка и

не брал, но что нырётка, набитая лягушками, оказалась на прежнем месте не раньше, как только вчера вечером.

Васька бежал со склада и ташил в мастерскую моток проволоки. Из окошка высунулась мать и позвала его, но Васька торопился; он замотал головой и прибавил шагу.

Мать закричала на него ещё громче, перечисляя все те беды, которые должны будут свалиться на Васькину голову в том случае, если он сию же минуту не пойдёт домой. И хотя, если верить её словам, последствия его неповиновения должны были быть очень неприятными, так как до Васькиного слуха долетели такие слова, как «выдеру», «высеку», «нарву уши» и так далее, но дело всё в том, что Васька не очень-то верил в злопамятность матери и, кроме того, ему на самом деле было некогда. И он хотел продолжать свой путь, но тут мать начала звать его уже ласковыми словами, одновременно размахивая какой-то белой бумажкой.

У Васьки были хорошие глаза, и он готчас же разглядел, что бумажка эта не что иное, как только что полученное письмо. Письмо же могло быть только от брата Павла, который работал слесарем где-то очень далеко. А Васька очень любил Павла и с нетерпением ожидал его приезда в отпуск.

Это меняло дело. Заинтересованный, Васька повесил моток проволоки на забор и направился к дому, придав лицу то скорбное выражение, которое заставило бы мать почувствовать, что он через силу оказывает ей очень большую услугу.

— Прочитай, Васька, — просила обозлённая мать очень кротким и миролюбивым голосом, так как знала, что если Васька действительно заупрямится, то от него никакими угрозами ничего не добьёшься.

— Тут человек делом занят, а она... прочитай да прочитай! — недовольным тоном ответил Васька, беря письмо и неторопливо распечатывая конверт. — Прочитала бы сама. А то когда я к Ивану Михайловичу учился бегал, то она: куда шляешься да куда шатаешься? А теперь... почитай да почитай.

— Разве же я, Васенька, за уроки ругалась? — ви-

новато оправдывалась мать. — Я за то ругалась, что уйдёшь ты на урок чистый, а вернёшься, как чёрт, весь измазанный, избрызганный... Да читай же ты, идол! — нетерпеливо крикнула она наконец, видя, что, развернув письмо, Васька положил его на стол, потом взял ковш и пошёл напиться и только после этого крепко и удобно уселся за стол, как будто бы собирался засесть до самого вечера.

— Сейчас прочитаю, отойди-ка немного от света, а то застишь.

Брат Павел узнал о том, что на их разъезде строится завод и что там нужны слесаря.

Постройка, на которой он работал, закончилась, и он писал, что решил приехать на родину. Он просил, чтобы мать ходила к соседке Дарье Егоровне и спросила, не сдаст ли та ему с женою хотя бы на лето одну комнату, потому что к зиме у завода, надо думать, будут уже свои квартиры. Это письмо обрадовало и Ваську и мать.

Она всегда мечтала, как хорошо было бы жить всей семьёю вместе. Но раньше, когда на разъезде не было никакой работы, об этом нечего было и думать.

Кроме того, брат Павел совсем ещё недавно женился, и всем очень хотелось посмотреть, какая у него жена.

Ни о какой Дарье Егоровне мать не захотела и слышать.

— Ещё что! — говорила она, заграбастывая у Васьки письмо и с волнением вглядываясь в непонятные, но дорогие для неё чёрточки и точки букв. — Или мы сами хуже Дарьи Егоровны?.. У нас теперь не прежняя конура, а две комнаты, да передняя, да кухня. В одной сами будем жить, другую Павлушке отдадим. На что нам другая?

Гордая за сына и счастливая, что скоро увидит его, она совсем позабыла, что ещё недавно она жалела старую будку, ругала новый дом, а заодно и всех тех, кто это выдумал — ломать, перестраивать и заново строить.

## 14

С Петькой за последнее время дружба порвалась, Петька стал какой-то не такой, дикий.

То всё ничего — играет, разговаривает, то вдруг нахмурится, замолчит и целый день не показывается, а всё возится дома во дворе с Еленкой.

Как-то, возвращаясь из столярной мастерской, где они с Серёжкой насаживали молотки на рукоятки, перед обедом Васька решил искупаться.

Он свернул к тропке и увидел Петьку. Петька шёл впереди, часто останавливаясь и оборачиваясь, как будто бы боялся, что его увидят.

И Васька решил выследить, куда пробирается украдкой этот шальной и странный человек.

Дул крепкий, жаркий ветер. Лес шумел. Но, опасаясь хруста своих шагов, Васька свернул с тропки и пошёл кустами чуть-чуть позади.

Петька пробирался неровно: то, как будто бы набравшись решимости, пускался бежать и бежал быстро и долго, так что Васька, которому приходилось огибать кусты и деревья, еле-еле поспевал за ним, то останавливался, начинал тревожно оглядываться, а потом шёл тихо, почти через силу, точно сзади его кто-то подгонял, а он не мог и не хотел идти.

«И куда это он пробирается?» — думал Васька, которому начинало передаваться Петькино возбуждённое состояние.

Внезапно Петька остановился. Он стоял долго; на глазах его заблестали слёзы. Потом он понуро опустил голову и тихо пошёл назад. Но, пройдя всего несколько шагов, он опять остановился, тряхнул головой и, круто свернув в лес, помчался прямо на Ваську.

Испуганный и не ожидавший этого, Васька отскочил за кусты, но было уже поздно. Не разглядев Ваську, Петька всё же услышал треск раздвигаемых кустов. Он вскрикнул и шарахнулся в сторону тропки.

Когда Васька выбрался на тропу, на ней никого уже не было.

Несмотря на то что недалёк был уже вечер, несмотря на порывистый ветер, было душно.

По небу плыли тяжёлые облака, но, не сбиваясь в грозовую тучу, они пронеслись поодиночке, не закрывая и не задевая солнца.

Тревога, смутная, неясная, всё крепче и крепче охватывала Ваську, и шумливый, неспокойный лес, тот

самый, которого почему-то так боялся Петька, показался вдруг и Ваське чужим и враждебным.

Он прибавил шагу и вскоре очутился на берегу Тихой речки.

Среди распутившихся ракитовых кустов распластался рыжий кусок гладкого песчаного берега. Раньше Васька всегда здесь купался. Вода здесь была спокойная, дно твёрдое и ровное.

Но сейчас, подойдя поближе, он увидел, что вода поднялась и помутнела.

Кусочки свежей щепы, осколки досок, обломки палок плыли беспокойно, сталкивались, расходясь и бесшумно поворачиваясь вокруг острых опасных воронок, которые то возникали, то исчезали на пенистой поверхности.

Очевидно, внизу, на постройке плотины, начали ставить перемычки.

Он разделся, но не бултыхнулся, как бывало раньше, и не забарахтался, весёлыми брызгами распугивая серебристые стайки стремительных пескарей.

Осторожно опустившись у самого берега, ощупывая ногою теперь уже незнакомое дно и придерживаясь руками за ветви куста, он окунулся несколько раз, вылез из воды и тихонько пошёл домой.

Дома он был скучен. Плохо ел, пролил нечаянно ковш с водою и из-за стола встал молчаливый и сердитый.

Он пошёл к Серёжке, но Серёжка был и сам злой, потому что порезал стамеской палец и ему только что смазали его йодом.

Васька пошёл к Ивану Михайловичу, но не застал его дома; тогда он вернулся домой и решил спозаранку лечь спать.

Он лёг, но не заснул. Он вспомнил прошлогоднее лето. И, вероятно, оттого, что день сегодня был такой беспокойный, неудачливый, прошлое лето показалось ему тёплым и хорошим.

Неожиданно ему стало жалко и ту поляну, которую разрыл и разворотил экскаватор; и Тихую речку, вода в которой была такая светлая и чистая; и Петьку, с которым так хорошо и дружно проводили они свои весёлые, озорные дни; и даже прожорливого рыжего кота Ивана Ивановича, который, с тех пор как сломали их

старую будку, что-то запечалился, заскучал и ушёл с разъезда неизвестно куда. Так же неизвестно куда улетела испуганная ударами тяжёлых кувалд та постоянная кукушка, под звонкое и грустное кукованье которой засыпал Васька на сеновале и видел любимые, знакомые сны.

Тогда он вздохнул, закрыл глаза и стал потихоньку засыпать.

Сон приходил новый, незнакомый. Сначала между мутных облаков проплыл тяжёлый и сам похожий на облако острозубый золотистый карась. Он плыл прямо к Васькиной нырётке, но нырётка была такая маленькая, а карась такой большой, и Васька в испуге закричал: «Мальчишки!.. Мальчишки!.. Тащите скорее большую сеть, а то он порвёт нырётку и уйдёт». — «Хорошо, — сказали мальчишки, — мы сейчас притащим, но только раньше мы позвоним в большие колокола».

И они стали звонить: дон!.. дон!.. дон!.. дон!..

И пока они громко звонили, за лесом над Алёшиным поднялся столб сгня и дыма. А все люди заговорили и закричали:

— Пожар! Это пожар... Это очень сильный пожар.

Тогда мать сказала Ваське:

— Вставай, Васька!

И так как голос матери прозвучал что-то очень громко и даже сердито, Васька догадался, что это, пожалуй, уже не сон, а на самом деле.

Он открыл глаза. Было темно. Откуда-то издали доносился звон набатного колокола.

— Вставай, Васька, — повторила мать. — Залезь на чердак и посмотри. Кажется, Алёшино горит.

Васька быстро натянул штаны и по крутой лесенке взобрался на чердак.

Неловко цепляясь впотьмах за выступы балок, он добрался до слухового окошка и высунулся до пояса.

Стояла чёрная, звёздная ночь. Возле заводской площадки, возле складов тускло мерцали огни ночных фонарей, вправо и влево ярко горели красные сигналы входного и выходного семафоров. Впереди слабо отсвечивала вода Тихой речки.

Но там, в темноте, за речкой, за невидимо шумевшим лесом, там, где находилось Алёшино, не было ни разгорающегося пламени, ни летающих по ветру искр,

ни потухающего дымного зарева. Там лежала тяжёлая полоса густой, непроницаемой темноты, из которой доносились глухие набатные удары церковного колокола.

## 15

Сток свежего, душистого сена. С теневой стороны, укрывшись так, чтобы его не было видно с тропки, лежал уставший Петька.

Он лежал тихо, так что одинокая ворона, большая и осторожная, не заметив его, тяжело села на шест, торчавший над стогом.

Она сидела на виду, спокойно поправляя клювом крепкие блестящие перья.

И Петька невольно подумал, как легко было бы всадить в неё отсюда полный заряд дроби. Но эта случайная мысль вызвала другую, ту, которой он не хотел и боялся. И он опустил лицо на ладони рук.

Черная ворона насторожённо повернула голову и заглянула вниз. Неторопливо расправив крылья, она перелетела с шеста на высокую берёзу и с любопытством уставилась оттуда на одинокого плачущего мальчугана.

Петька поднял голову. По дороге из Алёшина шёл дядя Серафим и вёл на поводу лошадь: должно быть, перековывать. Потом он увидел Ваську, который возвращался по тропке домой.

И тогда Петька притих, подавленный неожиданной догадкой: это на Ваську натолкнулся он в кустах, когда хотел свернуть с тропки в лес. Значит, Васька уже что-то знает или о чём-то догадывается, иначе зачем же он стал бы его выслеживать? Значит, скрывай не скрывай, а всё равно всё откроется.

Но, вместо того чтобы позвать Ваську и всё рассказать ему, Петька насухо вытер глаза и твёрдо решил никому не говорить ни слова. Пусть открывают сами, пусть узнают и пусть делают с ним всё, что хотят.

С этой мыслью он встал, и ему стало спокойнее и легче. С тихой ненавистью посмотрел он туда, где шумел алёшинский лес, ожесточённо плюнул и выругался.

— Петька! — услышал он позади себя окрик.

Он съёжился, обернулся и увидел Ивана Михайловича.

— Тебя поколотил кто-нибудь? — спросил старик. — Нет... Ну, кто-нибудь обидел? Тоже нет... Так отчего же у тебя глаза злые и мокрые?

— Скучно, — резко ответил Петька и отвернулся.

— Как это так — скучно? То всё было весело, а то вдруг стало скучно. Посмотри на Ваську, на Серёжку, на других ребят. Всегда они чем-нибудь заняты, всегда они вместе. А ты всё один да один. Поневоле будет скучно. Ты хоть бы ко мне прибегал. Вот в среду мы с одним человеком перепелов ловить поедем. Хочешь, мы и тебя с собой возьмём?

Иван Михайлович похлопал Петьку по плечу и спросил, незаметно оглядывая сверху Петькино поху-девшее и осунувшееся лицо:

— Ты, может быть, нездоров? У тебя, может быть, болит что-нибудь? А ребята не понимают этого да всё жалуются мне: «Вот Петька такой хмурый да скучный!..»

— У меня зуб болит, — охотно согласился Петька. — А разве же они понимают? Они, Иван Михайлович, ничего не понимают. Тут и так болит, а они — почему да почему.

— Выдрать надо! — сказал Иван Михайлович. — На обратном пути зайдём к фельдшеру, я его попрошу, он разом тебе зуб выдернет.

— У меня... Иван Михайлович, он уже не очень болит, это вчера очень, а сегодня уже проходит, — немного помолчав, объяснил Петька. — У меня сегодня не зуб, а голова болит.

— Ну, вот видишь! Поневоле заскучаешь. Зайдём к фельдшеру, он какую-нибудь микстуру даст или порошки.

— У меня сегодня здорово голова болела, — осторожно подыскивая слова, продолжал Петька, которому вовсе уж не хотелось, чтобы в довершение ко всем несчастьям у него вырывали здоровые зубы и пичкали его кислыми микстурами и горькими порошками. — Ну так болела!.. Так болела!.. Хорошо только, что теперь уже прошла.

— Вот видишь, и зубы не болят, и голова прошла. Совсем хорошо, — ответил Иван Михайлович, тихонько посмеиваясь сквозь седые пожелтевшие усы.



«Хорошо! — вздохнул про себя Петька. — Хорошо, да не очень».

Они прошлись вдоль тропки и сели отдохнуть на толстое почерневшее бревно.

Иван Михайлович достал кисет с табаком, а Петька молча сидел рядом.

Вдруг Иван Михайлович почувствовал, что Петька быстро подвинулся к нему и крепко ухватил его за пустой рукав.

— Ты что? — спросил старик, увидав, как побелело лицо и задрожали губы у мальчугана.

Петька молчал.

Кто-то, приближаясь неровными, грузными шагами, пел песню.

Это была странная, тяжёлая и бессмысленная песня. Низкий пьяный голос мрачно выводил:

Иэ-эха! И ехал, эх-ха-ха...  
Вот да так ехал, аха-ха...  
И приехал... Эх-ха-ха...  
Эха-ха! Д-ы аха-ха...

Это была та самая нехорошая песня, которую слышал Петька в тот вечер, когда заблудился на пути к Синему озеру. И, крепко вцепившись в обшлаг рукава, он со страхом уставился на кусты.

Задевая за ветви, сильно пошатываясь, из-за поворота вышел Ермолай. Он остановился, покачал всклооченной головой, для чего-то погрозил пальцем и молча двинулся дальше.

— Эк нализался! — сказал Иван Михайлович, сердитый за то, что Ермолай так напугал Петьку. — А ты, Петька, чего? Ну пьяный и пьяный. Мало ли у нас таких шатается.

Петька молчал.

Брови его сдвинулись, глаза заблестели, а вздрагивающие губы крепко сжались. И неожиданно резкая, злая улыбка легла на его лицо. Как будто бы, только сейчас поняв что-то нужное и важное, он принял решение твёрдое и бесповоротное.

— Иван Михайлович, — звонко сказал он, заглядывая старику прямо в глаза, — а ведь это Ермолай убил Егора Михайловича...

К ночи по большой дороге верхом на неосёдланном коне с тревожною вестью скакал дядя Серафим с разезда в Алёшино. Заскочив на уличку, он стукнул кнутовищем в окно крайней избы, и крикнув молодому Игошкину, чтобы тот скорей бежал к председателю, поскакал дальше, часто сдерживая коня у чужих тёмных окон и вызывая своих товарищей.

Он громко застучал в ворота председательского дома. Не дожидаясь, пока отопрут, он перемахнул через плетень, отодвинул запор, ввёл коня и сам ввалился в избу, где уже заворочались, зажигая огонь, встревоженные стуком люди.

— Что ты? — спросил его председатель, удивлённый таким стремительным напором обыкновенно спокойного дяди Серафима.

— А то, — сказал дядя Серафим, бросая на стол смятую клетчатую фуражку, продырявленную дробью и запачканную тёмными пятнами засохшей крови, — а то, чтобы вы все подошли! Ведь Егор-то никуда и не убежал, а его в нашем лесу убили.

Изба наполнилась народом. От одного к другому передавалась весть о том, что Егора убили тогда, когда, отправляясь из Алёшина в город, он шёл по лесной тропе на разезд, чтобы повидать своего друга Ивана Михайловича.

— Его убил Ермолай и в кустах обронил с убитого кепку, а потом всё ходил по лесу, искал её, да не мог найти. А натолкнулся на кепку машинистов мальчишка Петька, который заплутался и забрёл в ту сторону.

И тогда точно яркая вспышка света блеснула перед собравшимися мужиками. И тогда многое вдруг стало ясным и понятным. И непонятым было только одно: как и откуда могло возникнуть предположение, что Егор Михайлов — этот лучший и надёжнейший товарищ — позорно скрылся, захватив казённые деньги?

Но тотчас же, объясняя это, из толпы от дверей послышался надорванный, болезненный выкрик хромого Сидора, того самого, который всегда отворачивался

и уходил, когда с ним начинали говорить о побеге Егора.

— Что Ермолай! — кричал он. — Чьё ружьё? Всё подстроено. Им мало смерти было... Им позор подавай... Деньги везёт... Бабах его! А потом — убежал... Вор! Мужики взъярятся: где деньги? Был колхоз — не будет... Заберём луг назад... Что Ермолай! Всё... всё... подстроено!

И тогда заговорили ещё резче и громче. В избе становилось тесно. Через распахнутые окна и двери злоба и ярость вырывались на улицу.

— Это Данилино дело! — крикнул кто-то.

— Это ихнее дело! — раздались кругом разгневанные голоса.

И вдруг церковный колокол ударил набатом, и его густые дребезжащие звуки загревели ненавистью и болью.

Это обезумевший от злобы, к которой примешивалась радость за своего не убежавшего, а убитого Егора, хромой Сидор, самовольно забравшись на колокольню, в яростном упоении бил в набат.

— Пусть бьёт. Не трогайте! — крикнул дядя Серафим. — Пусть всех поднимает. Давно пора!

Вспыхивали огни, распахивались окна, хлопали калитки, и все бежали к площади — узнать, что случилось, какая беда, почему шум, крики, набат.

А в это время Петька впервые за многие дни спал крепким и спокойным сном. Всё прошло. Всё тяжёлое, так неожиданно и крепко сдавившее его, было свалено, сброшено. Он много перемучился. Такой же мальчуган, как и многие другие, немножко храбрый, немножко робкий, иногда искренний, иногда и скрытный и хитроватый, он из-за страха за свою небольшую беду долго скрывал большое дело.

Он увидел валяющуюся кепку в тот самый момент, когда испугавшись пьяной песни, хотел бежать домой. Он положил свою фуражку с компасом на траву, поднял кепку и узнал её: это была клетчатая кепка Егора, вся продырявленная и запачканная засохшей кровью.

Он задрожал, выронил кепку и пустился наутёк, забыв о своей фуражке и о компасе.

Много раз пытался он пробраться в лес, забрать фуражку и утопить проклятый компас в реке или в болоте, а потом рассказать о находке, но каждый раз необъяснимый страх овладевал мальчуганом, и он возвращался домой с пустыми руками.

А сказать так, пока его фуражка с украденным компасом лежала рядом с простреленной кепкой, у него не хватало мужества. Из-за этого злосчастного компаса уже был поколочен Серёжка, был обманут Васька и он сам, Петька, сколько раз ругал при ребятах непойманного вора. И вдруг оказалось бы, что вор — он сам. Стыдно! Подумать даже страшно! Не говоря уже о том, что и от Серёжки была бы взбучка и от отца тоже крепко попало бы. И он осунулся, замолчал и притих, всё скрывая и утаивая. И только вчера вечером, когда он по песне узнал Ермолая и угадал, что ищет Ермолай в лесу, он рассказал Ивану Михайловичу всю правду, ничего не скрывая с самого начала.

## 16

Через два дня на постройке завода был праздник. Ещё с раннего утра приехали музыканты, немного позже должны были прибыть делегация от заводов из города, пионерский отряд и докладчики.

В этом день производилась торжественная закладка главного корпуса.

Всё это обещало быть очень интересным, но в этот же день в Алёшине хоронили убитого председателя Егора Михайловича, чьё закиданное ветвями тело разыскали на дне глубокого, тёмного оврага в лесу.

И ребята колебались и не знали, куда им идти.

— Лучше в Алёшино, — предложил Васька. — Завод ещё только начинается. Он всегда тут будет, а Егора уже не будет никогда.

— Вы с Петькой бегите в Алёшино, — предложил Серёжка, — а я останусь здесь. Потом вы мне расскажете, а я вам расскажу.

— Ладно, — согласился Васька. — Мы, может быть,

ещё и сами к концу поспеем... Петька, нагайки в руки! Гайда на коней и поскачем.

После жарких, сухих ветров ночью прошёл дождик. Утро разгоралось ясное и прохладное.

То ли оттого, что было много солнца и в его лучах бодро трепыхались упругие новые флаги, то ли оттого, что нестройно гудели на лугу сыгрывающиеся музыканты и к заводской площадке тянулись отовсюду люди, было как-то по-необыкновенному весело. Не так весело, когда хочется баловать, прыгать, смеяться, а так, как бывает перед отправлением в далёкий, долгий путь, когда немножко жалко того, что остаётся позади, и глубоко волнует и радует то новое и необычайное, что должно встретиться в конце намеченного пути.

В этот день хоронили Егора. В этот день закладывали главный корпус алюминиевого завода. И в этот же день разезд № 216 переименовывался в станцию «Крылья самолёта».

Ребятишки дружной рысцой бежали по тропке. Возле мостика они остановились. Тропка здесь была узкая, по сторонам лежало болотце. Навстречу шли люди. Четыре милиционера с наганами в руках — два сзади, два спереди — вели троих арестованных. Это были Ермолай, Данила Егорович и Петунин. Не было только весёлого кулака Загребина, который ещё в ту ночь, когда загудел набат, раньше других разузнал, в чём дело, и, бросив хозяйство, скрылся неизвестно куда.

Завидя эту процессию, ребятишки попятились к самому краю тропки и молча остановились, пропуская арестованных.

— Ты не бойся, Петька! — шепнул Васька, заметив, как побледнело лицо его товарища.

— Я не боюсь, — ответил Петька. — Ты думаешь, я молчал оттого, что их боялся? — добавил Петька, когда арестованные прошли мимо. — Это я вас, дураков, боялся.

И хотя Петька и выругался и за такие обидные слова следовало бы дать ему тычка, но он так прямо и так добродушно посмотрел на Ваську, что Васька улыбнулся и сам скомандовал:

— В галоп!

Хоронили Егора Михайлова не на кладбище, хоронили его за деревней, на высоком, крутом берегу Тихой речки.

Отсюда видны были и привольные, наливающиеся рожью поля, и широкий Забелин луг с речкой, тот самый, около которого разгорелась такая ожесточённая борьба.

Хоронили его всей деревней. Пришла с постройки рабочая делегация. Приехал из города докладчик.

Из поповского сада вырыли бабы ещё с вечера самый большой, самый раскидистый куст махрового шиповника, такого, что горит весною ярко-алыми бесчисленными лепестками, и посадили его у изголовья, возле глубокой сырой ямы.

— Пусть цветёт.

Набрали ребята полевых цветов и тяжёлые простые венки положили на крышку сырого соснового гроба. Тогда подняли гроб и понесли.

Старик Иван Михайлович, бывший машинист бронированного поезда, который пришёл на похороны ещё с вечера, провожал в последний путь своего молодого кочегара.

Шаг у старика был тяжёлый, а глаза влажные и строгие.

Забравшись на бугор повыше, Петька и Васька стояли у могилы и слушали.

Говорил незнакомый из города. И хотя он был незнакомый, но он говорил так, как будто бы давно и хорошо знал убитого Егора и алёшинских мужиков, их заботы, сомнения и думы.

Он говорил о пятилетнем плане, о машинах, о тысячах и десятках тысяч тракторов, которые выходят и должны будут выйти на бескрайные колхозные поля.

И все его слушали.

И Васька с Петькой слушали тоже.

Но он говорил и о том, что так просто, без тяжёлых настойчивых усилий, без упорной, непримиримой борьбы, в которой могут быть и отдельные поражения и жертвы, новую жизнь не создашь и не построишь.

И над ещё не засыпанной могилкой погибшего Егора

все верили ему, что без борьбы, без жертв не построишь.

И Васька с Петькой верили тоже.

И хотя здесь, в Алёшине, были похороны, но голос докладчика звучал бодро и твёрдо, когда он говорил о том, что сегодня праздник, потому что рядом закладывается корпус нового гигантского завода.

Но хотя на постройке был праздник, тот, другой оратор, которого слушал с крыши барака оставшийся на разъезде Серёжка, говорил о том, что праздник праздником, но что борьба повсюду проходит, не прерываясь, и сквозь будни и сквозь праздники.

И при упоминании об убитом председателе соседнего колхоза все встали, сняли шапки, а музыка на празднике заиграла траурный марш.

Так говорили и там, так говорили и здесь потому, что и заводы и колхозы — всё это части одного целого.

И потому, что незнакомый докладчик из города говорил так, как будто бы он давно и хорошо знал, о чём здесь все думали, в чём ещё сомневались и что должны были делать, Васька, который стоял на бугре и смотрел, как бурлит внизу схватываемая плотиной вода, вдруг как-то особенно остро почувствовал, что ведь и на самом деле всё — одно целое.

И разъезд № 216, который с сегодняшнего дня уже больше не разъезд, а станция «Крылья самолёта», и Алёшино, и новый завод, и эти люди, которые стоят у гроба, а вместе с ними и он и Петька — всё это частица одного огромного и сильного целого, того, что зовётся Советской страной.

И эта мысль, простая и ясная, крепко легла в его возбуждённую голову.

— Петька, — сказал он, впервые охваченный странным и непонятым волнением, — правда, Петька, если бы и нас с тобой тоже убили, или как Егора, или на войне, то пускай?.. Нам не жалко!

— Не жалко! — как эхо, повторил Петька, угадывая Васькины мысли и настроение. — Только, знаешь, лучше мы будем жить долго-долго.

Когда они возвращались домой, то ещё издали услышали музыку и дружные хоровые песни. Праздник был в самом разгаре.

С обычным рёвом и грохотом из-за поворота вылетел скорый.

Он промчался мимо, в далёкую советскую Сибирь. И ребяташки приветливо замахали ему руками и крикнули «счастливого пути» его незнакомым пассажирам.



## СОДЕРЖАНИЕ

Тимур и его команда . . . . .	5
Р. В. С. . . . .	72
Голубая чашка . . . . .	111
Дальние страны . . . . .	136

**Аркадий Петрович Гайдар**

**ТИМУР И ЕГО КОМАНДА**

**Для младшего школьного возраста**

Редактор А. А. Иванов

Оформление Р. С. Климова

Художественный редактор В. С. Вежливцев

Техническое редактирование Н. Н. Гавриловой

Корректоры Н. К. Галкина, Н. С. Дурасова, В. А. Фокина

Сдано в набор 8.06.81 г. Подписано в печать 8.10.81 г.

Форм. бум.  $84 \times 108^{1/32}$  (бум. тип. № 1). Литерат. гарн.

Высокая печать. Физ. печ. л. 6,5. Усл. печ. л. 10,92. Уч.-изд. л. 11,181.

Тираж 200000 (120001—160000). Заказ № 3888. Цена 50 коп.

Северо-Западное книжное издательство,  
Архангельск, пр. П. Виноградова, 61.

Тип. им. Склепина издательства Архангельского обкома КПСС,  
Архангельск, пр Новгородский, 32.





50 коп.

В эту книгу повестей и рассказов замечательного детского писателя Аркадия Петровича Гайдара включены широко известные и любимые детьми произведения: «Тимур и его команда», «Р. В. С.», «Голубая чашка», «Дальние страны».